

Николай Гарин-Михайловский

Инженеры



Семейная хроника

Николай Гарин-Михайловский
Инженеры

«Public Domain»

1906

Гарин-Михайловский Н. Г.

Инженеры / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain»,
1906 — (Семейная хроника)

«Инженеры» – последняя повесть тетралогии «Семейная хроника» Н.Г. Гарина-Михайловского. В тетралогии художественно преломился богатый и разнообразный жизненный опыт писателя, отразилась современная ему русская действительность предреволюционной эпохи. Горький называл тетралогия «целой эпопеей».

Содержание

I	5
II	10
III	11
IV	13
V	17
VI	25
VII	31
VIII	42
IX	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

Инженеры

I

– Довольно!

И осветились вдруг весь этот громадный зал в два света, экзаменационные зеленые столы, черные доски. И это он, Карташев, стоял, и это ему говорил профессор, пробежав глазами исписанную доску:

– Довольно!

Там в открытых окнах был май, легкий ветерок качал занавески, доносился аромат распускающихся деревьев, сверкало солнце, грохотали мостовые. Карташев кладет в последний раз в жизни этот мел и повторяет мысленно «довольно», стараясь как можно сознательнее пережить это мгновение. Итак, довольно, он – инженер. То, к чему четырнадцать лет стремился с многотысячным риском сорваться, – достигнуто.

Каким недостижимым еще вчера казалось это счастье, и отчего теперь, когда цель достигнута, безумная радость не охватывает его неудержимым порывом, отчего он чувствует только, что устал, что хочет спать и что то, к чему он стремился, теперь, когда это достигнуто, кажется ему таким ничтожным, несостоящим...

И потом, положив мел и отойдя в глубь залы, Карташев продолжал ощущать все ту же охватившую его пустоту, в которой как будто вдруг потерял себя.

Ему казалось, что нет больше ни его, ни всех этих людей, здесь стоявших, волновавшихся. Что все они только тени, быстро, быстро проносящиеся в пространстве времени.

И что все эти радости, горе? Что вечно среди этого изменяющегося, равнодушного, неудержимо несущегося вперед?

Двадцать пять лет его жизни казались ему теперь только одним промчавшимся мгновением, в котором так ярко помнил он все, всякую мелочь. И в то же время так скучно, так ничтожно, так прозаично все это. И все-таки хорош этот день, этот ясный радостный май, в открытых окнах эти ароматные вздохи ветерка, тянущего с собой привет полей, лесов. Он поедет скоро туда, опять увидит свою Новороссию, ее степи, неподвижные, безмолвные, с угрюмыми скирдами сена на горизонте, ясную тихую речку в камышах с далекою далью сел, церквей, белых хаток, высоких и стройных тополей. И спит это все там теперь в ярком сиянье веселого дня, молодой весны, радостных надежд.

Правда, там нет лесов. Здесь под Петербургом он только узнал эти леса, полянки среди них, здесь под Петербургом только узнал он и аромат этих распускающихся лесов и мощное пробуждение их сразу от зимней спячки. Осень на юге, весна на севере. А эти ночи светлые, белые, – дни во сне, молчаливые, светлые, ароматные. Этот аромат распускающихся душистых тополей и сейчас несется с островов. Ах, эти острова, их сочная зелень, близость их друг к другу, голубые полосы окружающей их со всех сторон воды. Карташев вздохнул всей грудью. Везде прекрасна природа, и жизнь ее и красивее и законнее людской жизни. Радость ее – радость всех, а радость одного человека – всегда горе для других.

Вот он, Карташев, радуется, что кончил курс, что инженер он теперь. А основа этой радости? Кончил за счет тысяч других обездоленных. Кончил и обеспечен и будет сыт все за тот же счет других голодных.

А можно как-нибудь изменить все это?

Карташев поднял голову и следил в окно за птичкой, нырявшей в радостной синеве безмятежного неба.

Когда-то в гимназии он думал с другими, что можно. Теперь, когда он узнал жизнь... Теперь он думал, что нельзя? Теперь он ничего не думает. Ему показалось вдруг, что он совсем еще маленький в своем саду, Тёма – которого мама ведет за руку по дорожкам душистого сада в такой же ясный день, а он идет ленивый, беспечный и не хочет даже и думать, куда ведет его мама, зачем ведет: умыть ли, ногти остричь или почитать с ним что-нибудь.

К Карташеву подошел его товарищ, Володька Шуман, – толстый, веселый, добродушный.

– Ну, поздравляю.

Шуман еще вчера выдержал свой последний экзамен. Он пожал руку Карташеву и продолжал:

– Ну-с? Я вчера тоже так. Ничего: пройдет. Выспишься... Сегодня проснулся, и первая мысль, что никогда больше ни одного экзамена держать не надо. Хорошо!

Он спохватился и, весело раздувая ноздри, сказал шепотом:

– Однако, пожалуй, на прощанье выведут.

Он еще потоптался на месте и спросил:

– Ты что сегодня думаешь делать?

И, не ожидая ответа, сказал:

– Хочешь, поедem на острова, потом куда-нибудь еще закатимся... Ты вот что: иди пообедать теперь, потом выпишься и часам к семи приезжай ко мне. Идет?

– Идет.

Шуман озабоченно пожал руку Карташева и сказал: «А теперь я пошел».

Смешно переваливаясь, мелкими быстрыми шагами пошел к двери.

И Карташев двинулся за ним, в последний раз обводя экзаменационный зал и все стараясь отдать себе ясный отчет в переживаемом мгновении. Но ничего и из этого не выходило. Все было серо, буднично и обыкновенно.

Он устало, лениво шагал по лестнице и думал: «Самое приятное, конечно, что больше никогда не будет экзаменов».

И сейчас же подумал:

«А может быть, что-нибудь будет гораздо худшее, во сто тысяч раз худшее, чем экзамены?»

Он тревожно стал рыться в голове, что худшего могло бы с ним случиться? Умрет жена, дети, когда он женится? Но он никогда не женится. Что еще? Он приобретет состояние и потом потеряет его? Ему смешно стало. У него-то состояние? Никогда у него ничего, кроме долгов, не было и, конечно, никогда ничего другого и не будет. И на что это состояние? Иметь разве рублей тысячу... Он увидел швейцара Онуфриева, красное лицо которого теперь расплылось от радости и сверкало, как красный медный шар.

– С окончанием! Потрудились, и наградил господь.

Это он-то, Карташев, потрудились? Ему стало совсем стыдно, и он смущенно заговорил:

– Не можете ли, Онуфриев, дать мне еще двадцать пять рублей?

Мысль эта у Карташева мелькнула вдруг, и надо было согласиться, что момент был выбран удачный. Расчувствовавшемуся Онуфриеву не удалось принять его обычный настороженный и даже неприступный вид.

Он только нерешительно сказал:

– Не много ли будет? Ведь триста с хвостиком уже.

– В последний раз, – ласково-просительно ответил Карташев.

Онуфриев полез в карман и, доставая из кожаного кошелька точно для случая приготовленную двадцатипятирублевку, отдуваясь, обиженно проговорил, отдавая ее Карташеву:

– Как тут вам откажешь? Только уже, пожалуйста, Артемий Николаевич, – продолжал Онуфриев, вынимая перо, чернила и бумагу для расписки, – вы уже не обидьте.

– Ну, что, бог с вами, Онуфриев, – усмехнулся Карташев.

Когда расписка была написана и спрятана, Онуфриев, подавая Карташеву фуражку, добродушно говорил:

– Согрешить меня заставили, Артемий Николаевич, – ведь после тех троек я на образа крестился, что больше вам не дам.

Да, это была глупая история с этими тремя тройками тогда ночью, когда вдруг он один остался на них среди ночи с поручением рассчитать их, потому что все деньги, какие были у компании, пошли на ужин, а так как он за ужин не платил, то ему и поручили, передав остаток в двенадцать рублей, рассчитаться с этими тройками. В таком отчаянном положении он и поехал тогда к Онуфриеву, подняв его с кровати, а на попытку Онуфриева отказаться сказал:

– Какие пустяки вы говорите, Онуфриев, пока вы не заплатите, я не уйду от вас, потому что ямщики меня убьют.

Это было так убедительно, что тут же, повернувшись к большому киоту с лампадкой, заставленному образами, взбешенный Онуфриев в белых подштанниках, белой рубаше, босой, красный, сияющий гневом, сказал, крестясь:

– Образами клянусь, что это в последний раз и больше от меня не получите ни копейки.

Месть этим не ограничилась. Надев калоши и пальто, он сам пошел рассчитывать ямщиков, выражая этим подрыв всякого доверия. Это было, конечно, обидно, но дело сделано, и ямщики получили свои деньги, и у него в кармане еще осталось двенадцать рублей, которых до поездки не было.

Было и еще кое-что, отчего Онуфриев охладел.

Как-то раз Онуфриев позвал Карташева к себе в гости.

Приглашение было необычное. Карташев поблагодарил и пришел.

На столе стоял самовар, варенье, бутылка с водкой, другая какая-то, ветчина.

За столом сидела худенькая, тоненькая, почти подросток, светлая блондинка с маленьким птичьим личиком, смешно, точно в миньятюре, снятым с лица самого Онуфриева. И хотя первое впечатление и было далеко не в пользу девушки, но Карташев с свойственной ему в этом отношении добросовестностью уже нащупывал те стороны, если не тела, то души ее, которые вызвали бы и в нем симпатию. Было, конечно, некрасиво смотреть, как она прямо с общего блюдечка брала своей ложечкой варенье, съедала его, облизывала ложечку и опять брала ею варенье, как-то сгибая так пальцы, как будто бы шила. Но при всем том в ней не чувствовалось уверенности, что так и надо было делать. Напротив – робость, нерешительность, она как будто искала опоры, и, наверно, если бы Карташев сказал ей, как надо делать, она и делала бы все, что надо, не хуже всех других.

После чаю Онуфриев, сказав дочери сухо: «уйди», наклонился доверчиво к Карташеву и заговорил, понижая голос:

– Спасибо вам, Артемий Николаевич, что не побрезгали и зашли. Очень полюбил я вас. Простите за слово, как отец сына... Тридцатый год доходит, что я швейцаром в институте, а добрее вас и не видел. Очень много в вас этой доброты, и льнут к ней люди, как мухи к меду. Только ведь и пропасть так легко от этой самой доброты. Солнышко и то всех не обогреет. А ведь вы для всякого рады, а не можете, а беретесь. Ведь я вот вижу, через мои же руки все повестки проходят, сколько вы получаете, сколько каждый год привозите, сколько у меня и других, может быть, перехватываете, – по-царски жить бы можно, а вы в двугривенном всегда нуждаетесь. А отчего? Все людям...

Карташев энергично замотал головой.

– Нет, нет, Онуфриев. Это только так кажется: просто я не умею обращаться с деньгами. Когда у меня в кармане деньги есть, мне кажется, что они и всегда будут.

– И потому их и нет у вас. Ну, да известно, ваше дело барское, и маменька оставит, и сами станете зарабатывать...

– От матери я ничего не получу: все пойдет сестрам...

– Ну, это уж ваша вполне воля, а я к тому, что я-то жил не по-барски и всю жизнь копейками собирал. И все думал: как жить, как жить. Была жена у меня, мать вот Лизы, теперь только Лиза одна на весь свет божий. Для нее живу, для нее и работаю. Кто враг своему детищу, хотел бы я, чтобы хоть по мужу, если не по отцу, вышла бы она из хамского сословия, – хотел бы, а как бог велит, как люди побрезгают, нет ли?

Карташев оживленно и горячо начал доказывать, что времена теперь уже другие, что никакой давно уже разницы нет между сословиями, что его Лиза такое прелестное дитя, что он лично не сомневается в том, что она достойна высшего счастья на земле.

– Ваша бы воля, – перебил его Онуфриев, усмехнувшись. – Все в руках божиих: только одно, что Лиза моя тоже не с совсем пустыми руками в люди пойдет. Вот я и хотел об этом с вами посоветоваться. Я так вам, как на духу, откроюсь: скопил я тридцать семь тысяч, вот вы мне и посоветуйте теперь – в каких бумагах мне их лучше держать? – Онуфриев уставился в Карташева совсем близко своими рачьими глазами. Карташеву казалось, что он, как в лупу, смотрит в красную расширенную кожу его лица, где каждая пора рельефно обрисовывалась впадиной и где так много было каких-то белых пупырышков.

«Как в швейцарском сыре», – подумал Карташев, и ему показалось, что от лица Онуфриева и пахнет, как от швейцарского сыра. Он быстро подавил в себе неприятное ощущение и ласково-смущенно ответил:

– Видите, Онуфриев, я совершенно ничего не понимаю в бумагах.

– А как же... Ведь у маменьки вашей, наверно же, деньги в бумагах?

Карташев отлично знал, что у матери его никаких бумаг нет, что и дом и деревня заложены, но ответил:

– Конечно, вероятно, в бумагах, но она мне об этом никогда ничего не говорила. Дом есть, деревня есть... Если хотите, я напишу матери и спрошу...

– Ах, пожалуйста...

После этого Карташев стал прощаться, обещал заходить, несколько раз Онуфриев напоминал ему.

– Непременно, непременно, – отвечал озабоченно Карташев.

Как-то Онуфриев спросил:

– А что, от маменьки нет еще ответа?

– Вероятно, скоро будет.

– Вот с этим ответом, может, зашли бы... Обрадовали бы старика, и дочка все про вас спрашивает...

– Ваша дочка такая милая...

– Простая девушка.

– Слушай, Володька, – говорил Карташев, идя с Шуманом после этого разговора из института, – помоги, ради бога, может быть, ты знаешь, какие бумаги считаются самыми доходными?

– Тебе на что? Покупать хочешь?

Карташев рассказал ему, в чем дело.

– Тридцать семь тысяч?! Однако твоих сколько там?

– Что моих? Я каждую осень дарю ему сто рублей.

– Хорошенький процент за триста и за неполный год. Очевидно, таких дураков не ты один.

– Наверно, один. Он сам говорил, что за тридцать лет другого такого он не знал.

– Откуда же у него деньги?

Картагаев пожал плечами.

– Кого-нибудь убил, обокрал? – спросил Шуман, – впрочем, я отчасти догадываюсь, я кое-что слышал, он дает свои деньги инженерам-подрядчикам и участвует в прибылях.

– Ну, а насчет бумаг?

– Все это глупости: он лучше тебя знает толк в бумагах. Он просто хочет женить свою дочку на тебе и таким путем показывает тебе свое состояние.

– Его дочь очень симпатичная...

– И ты, конечно, уже не прочь жениться?

– Я не женюсь, потому что решил никогда не жениться...

– И самое лучшее, что ты мог бы сделать и чего, конечно, не сделаешь. Десять раз женишься...

– И по закону можно только три всего...

– Ну, закон... – махнул рукой Шуман.

– Все-таки что ж мне ему сказать насчет бумаг?

– Насчет бумаг? Много хороших есть бумаг: Брянские. Ты вот что ему посоветуй – Харьковского строительного общества. Это новое дело и обещает очень много.

– Отлично!

На другой день Карташев так и сообщил Онуфриеву. Тем и кончился разговор у них о деньгах, и так больше и не был Карташев в гостях у Онуфриева, если не считать его визит тогда только за деньгами для троек.

Все это быстро вспомнилось теперь Карташеву, когда он шел по улице в свою кухмистерскую.

Время было еще раннее, и в кухмистерской, кроме одного молодого студента, никого не было. Студент усердно читал какую-то книгу и ел, или, вернее, пожирал ломти серого ароматного хлеба в ожидании, пока подадут обед.

Все так же стояли белые столы, и каждый стол принадлежал другой девушке. В дверях появилась Ефросинья. То же светлое накрахмаленное платье, черная бархатка на шее.

– Сегодня рано пришли.

Карташев сегодня как-то ближе взгляделся в Ефросинью и с грустью заметил следы времени на ее лице: как-то уменьшилось лицо, выдвинулся подбородок, сморщилась и сбежалась местами кожа, и не белизну шеи, а желтизну ее подчеркивала уже бархатка.

Пять лет назад это была свежая, еще красивая женщина. И резче подчеркивалась эта перемена, потому что в раскрытые окна смотрел ясный майский день, радостный, молодой, ленивый.

– Как поживает ваша дочка?

Точно кто дернул за невидимый шнурок, и лицо Ефросиньи сбежалось так, что слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. Она только махнула безнадежно рукой и ушла за новым блюдом. Умерла, что-нибудь случилось? Карташев не решился больше спрашивать.

Когда он кончил, народу набралось уже много. Все это были молодые, незнакомые, чужие. Теперь уже совсем чужие. Ефросинья кивнула ему головой и равнодушно бросила:

– Прощайте.

Да, все это чужое уже.

II

Карташев пришел домой и лег спать.

— Агаша, будите меня в пять часов. Крепко только будите, а то я две ночи не спал и легко и до завтра просплю, а мне необходимо...

Отдав это распоряжение, Карташев с удовольствием вытянулся на кровати.

Кончена одна часть жизни. Странная, кочевая изо дня в день жизнь. Только бы сегодня как-нибудь.

И сколько ни пробовал Карташев выбиться из этого сегодня, как-нибудь наладиться, так ничего никогда не выходило из этого. Жизнь точно в гостинице, куда приехал на несколько дней. И так шесть лет день за днем. Что сделано?

Ах, решительно ничего. Никаких знаний не приобретено. Каким-то только чудом сохранилась жизнь и возвратилось здоровье.

Возвратилось ли еще? Через десять, двадцать лет все это еще может сказаться. В сущности, если серьезно вдуматься, жизнь уже разбита. Разве можно, например, при таких условиях...

Если серьезно вдуматься...

III

Долго будила Агаша Карташева. Были минуты, когда Карташев окончательно решал про-
должать спать до следующего утра. Но все-таки проснулся и в шесть часов в штатском пальто
и в студенческой фуражке вышел на улицу.

Ради такого торжественного случая он решил, благо деньги были, взять лихача.

– О-го, – сказал Шуман, выходя и увидев лихача. – Прежде всего вот что надо сделать:
купить кокарды на шапки.

– Следовало бы и шапки новые.

– Сойдет, даже лучше так, – как будто старые уже инженеры с постройки приехали.

И конец дня был такой же ясный, как и весь день. Веяло прохладой от Невы, заходящее
солнце так безмятежно золотило ее гладь, таким покоем, такой радостью веяло от воды, от
зелени, от деревьев, такой чудный свежий аромат проникал весь воздух.

Вот Петербургская сторона, вот Александровский парк, вот дом, где когда-то он, Карта-
шев, жил. Там и Марья Ивановна жила. Как безумно тогда он любил ее. Потом разлюбил. Дру-
гую полюбил. Как ее звали? Да, Анна Александровна. Она жила против Петровского парка. Он
как сейчас помнит подъезд этого дома, переднюю, где однажды, стоя на коленях, он надевал
на ее ботинки калоши. Вот Большой проспект. Как часто он гулял здесь под вечер с ней. Что-
то было тогда очень хорошее. Такое хорошее, что и теперь стало Карташеву весело и легко.

– Все-таки хорошо, Володька?

– А? Что? Да ничего.

– О чем ты думал?

– О чем думал? Думал, что надо с завтрашнего дня начать шляться по разным передним:
служить надо начинать.

– Давай вместе шляться?

– Гм... Давай, пожалуй.

– Черт возьми, денег ведь дадут, Володька.

– Ну, подождешь еще: нынче с местами не так просто. Те времена, когда со скамьи, да
чуть ли не в главные инженеры прямо, – прошли. Теперь, ой-ой, как горб набьешь, пока дослу-
жишься до чего-нибудь.

– Тебе хорошо, – ты все пять лет бывал на практике, и всё на постройке, а я ведь только
кочегаром ездил.

– Да, трудно будет. Придется учиться у десятников. Ты сразу начальство из себя не торо-
пись разыгрывать, а то дурака сваляешь. Сперва тише воды, ниже травы, учись, а там через
несколько месяцев, как подучишься, и валяй.

– Трудно строить?

– Трудно сапоги шить? Научишься, ничего трудного и не будет.

– Что, собственно, из наших институтских познаний пригодится?

– Для практического инженера? Ничего. Практически-то, что знает хорошо десятник,
мы так никогда и знать не будем.

– А теорию ведь мы тоже не знаем.

– Научились рыться в справочных книжках, – на все ведь готовые формулы есть...

– Проживем?

Шуман только рукой махнул.

– Эх, Тёмка, Тёмка, – вздохнул Шуман, – бить тебя некому.

– А что?

– Да вот я думаю. Ну я? Ну и бог мне велит. А ведь ты... ведь ты такой талантливый.

– Я-то талантливый?

– Такой способный... самый способный между нами... Самую чуточку занимался бы и блестящим был бы инженером. Я не хочу тебе никаких комплиментов говорить, но ведь занимались же мы с тобой, и видел я, как тебе все без всякого труда дается.

– В этом-то и несчастье мое. Лучше было бы, если бы я знал, что мне дается с трудом, тогда бы я трудился.

– А без труда тоже нельзя, – пустой ракетой пролетишь... А мог бы... Куда поедет? На Крестовский, что ли?

– Покатемся еще – и на Крестовский.

Вот и Стрелка. Плоская даль воды. Красный диск на горизонте, вереница экипажей, гуляющих на Стрелке.

Ох, сколько и здесь воспоминаний. Наташа... Сколько их, однако, было? С Наташей большой кусочек жизни ушел. Хороший? Так недавно все это было еще. Болит и до сих пор, лучше и не думать: прошло и не вернется. Тогда зимой на этом озере он ходил с ней, это было в первые дни знакомства, он до сих пор помнит ощущение прикосновения к ее руке в перчатке. Точно мир весь он принимал тогда от нее, замирая от восторга.

Оттуда поехали на Крестовский. И Шуман и Карташев слонялись, скучая в густой толпе собравшейся публики, то слушая исполнителей открытой сцены, то гуляя по аллеям.

– Скучно, – сказал Шуман, – едем домой, с завтрашнего дня надо приниматься за искание дела, пока еще не все кончили свои экзамены. Завтра в девять часов будь готов: я зайду за тобой.

– Так рано?

– Рано! Порядочный инженер в девять часов второй раз спать ложится.

– Ну, значит, я буду плохой инженер, потому что больше всего на свете люблю спать.

IV

В девять часов точно на другой день Шуман был у Карташева.

Карташев, конечно, не только не был готов, но и с кровати еще не вставал.

– Даю тебе четверть часа сроку, – сказал деловито Шуман, – если не будешь готов, пойду один.

Он вынул из кармана газету и сел ее читать.

– И разговаривать не хочешь?

– Не хочу.

– Ну, и черт с тобой.

Карташев начал быстро одеваться.

– Стакан чаю можно выпить?

– Пей. А потом садись и пиши вот такое прошение.

– Это что?

– Это прошение в министерство о зачислении на службу. Это не мешает частной службе, а по министерству будешь числиться. Будут идти чины, эмеритура, пенсия...

– Господи, о чем он думает?

– Все, друг мой, в свое время придет. На старости лет, когда разобьет паралич и, кроме исполнительных листов, ничего за душой не будет, полтора ста, двести рублей в месяц – их как пригодятся! Будет на что нанять комнату, человека, который будет тебя по носу щелкать.

– Купить, наконец, револьвер, чтобы покончить с собою, вместо того чтобы вести такую гнусную жизнь.

– Кончают единицы, – наставительно ответил Шуман, – а остальные миллионы с жизнью расстаются только поневоле.

Карташев написал такое же прошение, как и Шуман, и приятели отправились в министерство. По дороге они оба купили по маленькому инженерному значку и вдели в борты своих сюртуков.

Справились у швейцара, доложились дежурному чиновнику, а тот привел их в приемную директора департамента общих дел.

Пришлось ждать долго. Наконец вышел плотный, низко остриженный господин и отрывочно спросил:

– Чем могу служить?

Шуман и Карташев молча подали свои прошения.

– Вы, собственно, куда же хотите поступить?

Карташев и Шуман переглянулись. Куда они хотели бы поступить?

Они хотели бы поступить на постройку какой-нибудь железной дороги.

– Непременно на постройку?

– Непременно.

– В департамент шоссейных, водяных не желаете?

Не только не желают, но Карташев объяснил и причины. И на шоссе и в водяных берут взятки, а так как они этого не желают, то и хотят идти на постройку.

– А на постройке взятки не берут?

– Там платят такое жалованье, что люди могут и без взяток жить.

– Гм... Очень жалко, господа, что ничем вам не могу быть полезным, так как в моем распоряжении места только по общему департаменту, где этого, – он дотронулся рукой до значка Карташева, – не надо. Но, если хотите, свободные места у меня есть.

– А с этим что делать? – спросил Карташев, показывая на свой значок.

– Снять.

– Очень жаль, что пять лет тому назад мы не догадались прийти к вам, теперь, вероятно, мы бы уже дослужились...

– Чем еще могу служить? – резко перебил его директор и, не дождавшись ответа, скрылся за дверью.

Карташев и Шуман залились веселым смехом.

– Нет, какая свинья... – начал было Карташев.

Но в это время дверь снова отворилась, и в ней опять показалась фигура директора. Карташев и Шуман бросились в коридор.

– Ну, здесь ловко устроились, – говорил полушутя, полусердито Шуман Карташеву, шагая с ним по панели, – и, если так же успешно дальше пойдет, мы скоро себе составим блестящую карьеру. Послушай, так нельзя!

Его маленькие ноздри раздулись.

– Мы бы еще весь курс с собой прихватили и так и шлялись бы. Надо ходить каждому отдельно.

Шуман вынул из кармана записную книжку и сказал:

– Вот запиши себе, куда идти.

У Карташева не было ни карандаша, ни бумаги.

– Ну, какой ты к черту инженер, если у тебя нет записной книжки. Карточки есть?

– И карточек нет.

Шуман пожал плечами, вырвал листок из своей книжки и записал несколько адресов.

– Сегодня иди вот к этим, а завтра к этим. Не перепутай смотри, а то будем встречаться. Если еще что-нибудь подвернется, буду нюхать и скажу тебе. А теперь прощай. Прежде всего ступай и купи себе книжечку с карандашом, еще лучше технический календарь, а то вдруг спросят, сколько будет дважды два, так без календаря, пожалуй, и не ответишь. Потом закажи себе карточки, а внизу – инженер путей сообщения. И не будь нахален при ответах. Все-таки с директором можно было бы разговаривать: может быть, в конце концов и узнали бы от него что-нибудь. А ведь прошения наши все-таки взяли.

– Что ж с этого толку?

– Зачислят, по крайней мере, по министерству. Ну, прощай.

Друзья расстались. Карташев заказал себе карточки, купил технический календарь, обошел все правления по записанным адресам, но толку из этого никакого не вышло. Везде более или менее вежливо отвечали, что мест никаких нет. Иногда вскользь спрашивали, бывал ли он на практике, и на отрицательный ответ повторяли опять, что никаких мест нет.

Выяснилось и чувствовалось, что ходи он так и всю остальную жизнь, все только бы и выслушивал он на разные лады тот же ответ. Шуман почти пропал из виду. Исчезли как-то с горизонта и остальные товарищи. Кончились экзамены и в институте, и прежде широко раскрытые его двери теперь были заперты.

Точно карточный домик, развалилось вдруг все связывающее его с товарищами, институтом.

Кончил, и все надо было опять начинать откуда-то сначала, надо было опять взбираться на какую-то неприступную без лестницы башню жизни.

Карташев тоскливо ходил кругом этой башни и не видел ни входа, ни выхода.

Что толку, что он инженер теперь? Никогда на самом деле он не будет инженером, никогда ни одной дороги не выстроит. Но что же делать, как жить дальше?

Идти на шоссе или в водяные?

Лучше совсем распрощаться с инженерством.

«Сделаюсь учителем математики», – думал Карташев и тут же думал:

«Какой же я учитель, когда я не знаю никакой математики. Любой гимназист сконфузит меня, как захочет».

Поступить разве опять в университет на математический факультет, чтобы стать настоящим учителем? Тогда уж лучше на юридический опять? Чтобы быть лучшим юристом между инженерами, лучшим инженером между юристами.

«Ну, в акциз поступлю, – думал Карташев, – там теперь тоже взятки нет. – Как-нибудь проживу же».

Редкие встречи с товарищами и даже с Шуманом оставляли еще более тяжелое впечатление. Всякий боялся проговориться, всякий таинственно отвечал на вопросы, что он думает делать.

– Еще ничего не известно...

«Все эгоисты, все думают только о себе», – горько жаловался сам себе Карташев.

Зато из дому слали ему без счета радостные поздравительные письма и телеграммы. Энергично звали его домой.

Конечно, приятнее было бы приехать уже настоящим инженером-строителем, с местом, с бумажником, наполненным деньгами. Но и без этого тянуло туда, где любят и ждут.

– Поеду, – решил Карташев.

Зашел к Шуману, по обыкновению не застал его дома и оставил ему записку, что завтра с почтовым уезжает.

Шуман незадолго до отхода почтового поезда приехал на вокзал.

– Ну, что, как твои дела? – спрашивал его Карташев.

– Ключет, – ответил уклончиво Шуман.

– А у меня ничего не выгорело, – пожаловался Карташев.

– Гм... – промычал в ответ Шуман.

Перед последним звонком появился Шацкий.

В злополучный год болезни Карташева и его Шацкий отстал на один год, и с тех пор бывшие друзья почти не виделись.

Шацкий остался Шацким. Ломаясь, изображая из себя героя того романа из иностранной жизни, который последний прочел, он церемонно и галантно, едва дотрагиваясь до протянутой руки Карташева, проговорил:

– Узнал, что уезжаешь, и счел долгом проводить тебя.

– Ну, а я пошел, – сказал Шуман. – Прощай.

Он запыхтел, покраснел и трижды поцеловался с Карташевым.

– Ну, всего лучшего.

Шуман неуклюжей, проворной походкой, смущенно кивнув Шацкому, направился к выходным дверям.

Шацкий сейчас же после ухода Шумана сбросил с себя шутовской вид и заговорил простым языком.

– Ты грустен? Не могу ли я быть чем-нибудь полезным? Может быть, денег?

– Нет, спасибо. Да, невесело. Вот кончил и решительно не знаю, что с собою делать.

– Очень все это глупо организовано у нас. У одних все пять лет практики, у других ни разу. И моя судьба такая же будет. И в этом году опять никакой практики.

– Иди хоть в кочегары, – посоветовал Карташев.

Шацкий только досадливо дернул плечом.

– Что ж ты будешь делать? Домой поедешь?

– Ну, вот еще. Я уже третий год домой не езжу. Я ведь постоянно на практике, а с практики я еду прямо на лекции, потому что я остепенился и вот уже три года, как у меня нет ни одного потерянного дня. Что дня? Часа потерянного нет.

– И это, конечно, стоит денег?

– Не будем говорить об этом. Меньше, во всяком случае, чем служба моего брата в гусарах.

– Он кем там?

– Солдатом, mon cher, но это стоит десятка полтора тысяч в год. Держит, между прочим, своих лошадей для скачек. Теперь как раз скачки, и он зовет к себе в Варшаву. Старик в восторге: высылает ему и лошадей и деньги.

– Это тот твой брат, который поступал, когда мы кончали?

– Тот самый. В высшее заведение не пошел, и поверь, что сделает лучшую, чем мы с тобой, карьеру. Этот мальчик имеет нюх и поставлен не по-нашему. А мы с тобой... старики уже... Еще живы, еще не в могиле, но...

*Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...*

Тряпки, mon cher. Третий звонок, прощай, и если когда-нибудь вспомнишь старого друга, каких теперь уж нет и быть не может...

Шацкий опять впал в свой обычный тон и махал стоявшему в окне вагона Карташеву. Вагоны медленно двигались, Шацкий еще раз махнул, повернулся спиной, постоял мгновение и, карикатурно раскачиваясь, быстро, толкая публику, помчался прочь.

Карташев уныло провожал его глазами.

Скучные мысли ползли ему в голову.

Быстро пронеслось время. Давно ли подъезжал он впервые шесть лет тому назад к этому Петербургу. Шесть лет промелькнули, как шесть страниц прочитанной книги. Он ехал тогда и мечтал, что в эти шесть лет он приобретет знание, которое даст ему прочную возможность независимо стоять в жизни. Но знания нет. Давно, еще в гимназии, потерял аппетит к работе, и если кто-нибудь не сжалится и не даст кусок хлеба, то он пропал.

Ах, может быть, и будет этот кусок хлеба, но так тоскливо, так пусто на душе. Назад бы опять, к началу этих шести лет, за работу.

Все быстрее и быстрее мчался поезд по зеленым кочкам и болотам.

Карташев печально смотрел в окно.

V

Приезд домой не освежил Карташева. По крайней мере, на первое время. Дома как будто все осунилось, уменьшилось.

Мать постарела, волосы ее побелели еще с болезни Карташева. Давно и эта болезнь была забыта, и отношения установились как будто прежние, но что-то из прежнего оставалось все-таки и навсегда легло между матерью и Карташевым. В той бывшей борьбе слишком уже обнаружилось как-то все и было так неприкрашенно, что всякое воспоминание и с той и с другой стороны о том времени вызывало прозу и горечь. А отсюда постоянное опасение как-нибудь коснуться этого прошлого, этого больного. Опасение коснуться не только на словах, но и в воспоминании.

Наташу часто вспоминали еще, и сильнее тогда вставало в памяти пережитое.

Зина по-прежнему была замужем за Неручевым, но дела их шли все хуже и хуже. Муж ее отчаянно кутил, а Зина толстела и ходила с опухшими глазами.

Аня кончала гимназию, религиозная, влюбленная в мать. Кончал гимназию и младший брат и, хлопая покровительственно старшего брата по плечу, говорил, горбясь:

– Так-то, батюшка, через годик и мы студентами уже будем.

– Ну, что, вас донимают в гимназии?

– Кого донимают, а кого и нет. Везде надо с умом. С умом проживешь, а без ума не выжишь. Мы тоже кое-что маракуем и на вершок сетей наплетем два.

– Не совсем понимаю, в чем дело.

– Не совсем это и просто, – отвечал многозначительно младший брат, – а в общем, как видишь, живем, хлеб жуем.

– Политикой занимаетесь?

– Что политика? Ерунда... Что мы, гимназисты, можем значить в какой бы то ни было политике? Надо быть уж совсем мальчишкой...

– Но все-таки такие мальчишки у вас в классе есть?

Младший брат горбился по-стариковски, делая ироническое лицо, и говорил:

– Есть и такие... Всякого жита по лопате, но суть не в них.

– Суть в таких, как ты?

– Я вижу, – отвечал младший брат, – ты хочешь, кажется, начать иронизировать, – ну что ж, на здоровье. Но если хочешь говорить серьезно, то я отвечу, что суть действительно в таких, как я. Мы ничем себя не воображаем, звезд с неба не хватаем, вершить судьбы любезных сограждан не собираемся, но свое дело, которое под ногой, исполняем и в будущем, надеемся, будем также исполнять. Не в обиду тебе будь сказано, – ведь кое-какая память о вас сохранилась, – вы все были чуть ли не гении, когда кончали гимназию, а знали-то вы, вероятно, ох как мало. Не знаю, что узнал ты за это время в своем институте.

– Ничего не узнал.

– Ну, что ж, сознание вины – половина исправления, говорят, а все-таки...

– Водку пьете, в театр ходите, собираетесь вы?

– Водку иногда для ухарства пьем, в театр ходим мало, в карты маненько маракуем.

– В какие игры?

– Больше в винт, иногда в макашку.

– Влюбляетесь?

– И не без этого, бо homo sum¹.

– Читаешь?

¹ я человек (лат.).

– Как тебе сказать? Попадется под руки, прочтешь, конечно. Но постоянно читать – времени нет. Если заниматься как следует, то когда же читать? Вы, конечно, в этом отношении счастливее нас были: вы считали возможным игнорировать занятия. Вы гении зато, а мы бедные ремесленники: куда пойдешь без знаний?

Увидев огорчение на лице старшего брата, младший сказал:

– Ты не обижайся. Гении вы не потому только, что там способности у вас, что ли, больше, чем у нас, а и по своему положению, как старшие в семье, – ты, Корнев, Рыльский, все вы ведь первенцы, на вас все внимание, а мы подростки, мы всегда в тени, – книги от брата, костюмы от брата, и это через все само собой проходит. И в результате – вам императорскую корону, вам все можно, и вы все можете, а нам зась, мы только вашего величества братья, мы обречены жить и прозябать только в тени ваших лавров. Вы, старшие, словом, съели наши доли, так уж где же нам сметь и на что больше можем мы надеяться, как не на свои усиленные труды.

– Однако... Ты, любимый братец, лет на десять старше, прозаичнее и скучнее меня... Перед тобой, как говаривал Корнев, я просто мальчишка и щенок.

– Ну, ну, унижение паче гордости.

– В бога ты веришь?

– Осмелюсь доложить, что верю. А ваше величество?

– Нет.

– Но в душе это вам не мешает креститься на каждую церковь и молиться на ночь?

– На церковь я не крещусь, а на ночь молюсь. Но это не молитва: это привычка, благодаря которой я вспоминаю каждый день всех близких мне. Точно так же я люблю все обряды рождества, пасхи, потому что они связывают меня с прошлым, и без этого жизнь была бы скучна.

– Носишь образок на шее?

– Висит – и ношу. Куда же мне его деть?

– Видишь ты, – наставительно заговорил младший брат, – я не люблю делать что-нибудь машинально, я люблю давать себе во всем отчет. Я не верю в неверующих людей. Я думаю, что предрассудками ли, поколениями ли, действительной ли своей силой, но вера так связана со всем нашим существом, что, отрешаясь от нее на словах, попадаешь в очень унижительное положение перед самим собой. По существу от нее не отделаться, а снаружи отрекся: ложь и фальшь. Так чем так, я лучше буду на виду у всех крестить себе лоб.

– Неужели ты не можешь допустить мысли, что существуют искренно неверующие люди?

– Охотно допускаю. Я сам начну вдумываться, рассуждать и всегда приду к тому, что ничего нет и быть не может. Вся эта сказка вочеловечения, вознесения на какое-то небо, когда мы теперь уже знаем, что это за небо, – все это, конечно, устарелая сказка, и тем не менее все эти рассуждения, как спичка в темноте – пока горит, – светло и видишь, что ничего действительно нет, а потухла – и опять охватывает мрак и образы мрака опять таинственно что-то шепчут, шевелят душу, трогают.

– Да ты бессонницей, что ли, страдаешь, галлюцинациями?

– И не думаю, сплю, как убитый, но я знаю, что я человек моей обстановки и никуда от нее не денусь; и не важно это: верю я там или не верю. Больше скажу тебе: если б я даже действительно перестал верить, я больше бы гордился тем, что все-таки я крещусь, а не стыдился бы того, что вот я крещусь.

Вошла мать, положила младшему сыну руку на голову и сказала:

– Умница: это мой сын, и все они не вашему поколению чета.

– Там умница или не умница – это особь статья, а думать так, как мне думается, это я считаю своим правом.

– Да это, конечно, хорошо, – согласился старший Карташев, – но чтоб думать правильно, нужна гарантия для этого. Гарантия же в развитии, чтении, в знакомстве с мыслями других.

Да и этого мало, необходимо руководство. Знаний так много, что без руководства запутаешься в них и никогда на торную дорогу не выйдешь.

– А на что тебе торная дорога?

– Потому что в том и жизнь, что наступает мгновение и требует для него решения, – без подготовки и решения никакого быть не может.

– А по-моему, сознание является *post factum*², и всякое решение для действующих лиц всегда является бессознательным. Осмысливают его уже потом историки, ученые, филологи.

– Ты умный, – улыбнулся старший Карташев.

– Вумный, – поправил младший брат.

– Умный с воздухом, как и я, как всякий русский, – палец приложил ко лбу и поехал: выходит гладко, но торных дорог мышления нет, нет степени, нет направления, а потому все мы только рассуждающие балды, очень щепетильно отстаивающие свое право быть такими независимыми балдами.

– Ишь как у тебя сильна закваска старого, – усмехнулся младший брат. – Ну, поживешь еще, проветришь и остатки.

– А его мысли ведь зрелее твоих, – кольнула мать старшего сына.

– Я и то говорю, что он на десять лет старше, скучнее и прозаичнее меня.

– Ишь сердится, – ответил покровительственно младший брат, – друг Горацио, ты сердишься, потому что ты не прав.

– Да ну тебя к черту, – полушутя, полураздраженно сказал Карташев, – надоел.

– Идите лучше черешни есть.

– Вот это верно, – согласился младший брат.

И, взяв под руку старшего, сказал все тем же покровительственным, добродушным тоном:

– Идем, голубчик мой, черешни есть, и черт с ней, с философией, бо морочная дюже эта наука!

– Ах, Сережа, я ведь не отрицаю, что я профан и невежда, но ведь сомнение без знаний – это ведь совсем уж безнадежное профанство.

– Ну и будем безнадежными профанами, но оставим друг друга в покое: ты думай так, я буду по-своему, а черешни будем есть вместе.

– Так, так, так, – согласился старший Карташев.

Больше других жизнь в семью вносила Маня.

Тюрьма на нее не имела никакого влияния: она по-прежнему смело, вызывающе смотрела своими прекрасными глазами, густые, выющиеся от природы волосы ее были всегда в беспорядке, она любила смеяться, в ней было много юмора, задора, душа нараспашку; она всегда была быстра на решения и действия.

Во время суда в ней большое участие принимал председатель военного суда Истомин. Он и после в тюрьме навещал ее, через нее же познакомились семьями.

Председатель был уже старик, женатый на совсем молодой, и у них была прелестная трехлетняя дочка. Обе семьи очень сошлись между собой и в конце концов поселились в одном доме – Истомины вверху, Карташевы – внизу. В обеих квартирах были большие террасы, и так как дома стояли на возвышении, то с этих террас открывался далекий вид на город, и на море, и на всю кипучую пристанскую жизнь.

Истомины ждали к себе сестру жены, молодую девушку, кончившую за границей гимназический курс и теперь возвращавшуюся домой. Она ехала морем и, прежде свидания с отцом, решила погостить несколько дней у сестры.

² впоследствии (*лат.*).

Сестра ее, жена Истомина, Евгения Борисовна, молодая красивая шатенка, немного картавила, говорила с уверенностью и непогрешимостью молодости и вся была поглощена воспитанием своей трехлетней дочки Али.

Маня была очень дружна с Евгенией Борисовной, а Аня сторонилась ее за воспитание Али.

– Мне жаль бедную девочку, – говорила Аня, – она не воспитывает, а дрессирует ее, как собачонку. Так и слышится: пиль, апорт, тубо!

И Аня так комично подражала командорскому голосу Евгении Борисовны, так воспринимала ее манеру, что все смеялись.

С Тёмой Истомины познакомились еще в прошлом году, когда он ездил кочегаром, и Евгения Борисовна относилась к нему с своей обычной покровительственной манерой, в общем очень хорошо.

Эта покровительственность, строгость, дрессировка нравились Карташеву, и он поддавался ее влиянию, и это, в свою очередь, вызывало к нему еще большую симпатию.

Но генерал Евграф Пантелеймонович, муж Евгении Борисовны, был с ним как-то насто-роже и даже сух.

В мундире генерал был еще бравый старик, но дома он ходил в халате, носил туфли, за поясом ключи от кладовых.

Все хозяйство было на его руках, и Евгения Борисовна демонстративно ни во что не вмешивалась.

– Зачем нам ссориться, – уклончиво говорила она Аглаиде Васильевне, – он так привык, у него сложившиеся вкусы, взгляды.

Истомины поженились четыре года тому назад.

Ему было тогда пятьдесят четыре года, ей двадцать лет.

Истомин был товарищем по корпусу отца Евгении Борисовны. Истомин уже командовал полком, входил с ним в тот город, где в тот день появилась на свет Евгения Борисовна.

Как ни противился отец этой свадьбе, Евгения Борисовна настояла.

С своей обычной непоколебимостью она категорически заявила:

– Или я выйду замуж за Евграфа Пантелеймоновича, или уйду в монастырь.

В первое время они очень любили друг друга. Любили и теперь, но уже более спокойным, остывшим чувством. На горизонте их семейной жизни собирались тучки: привычки старого холостяка, аккуратника, педанта давали себя чувствовать. Обижали Евгению Борисовну и халат, и туфли мужа, и весь тот непреклонный режим, который он вел и требовал от жены.

Она и сама была непреклонная, и между ними все чаще происходили столкновения. Но об этом ни прислуга и никто из посторонних и не догадывались. Со стороны все было благодушно, патриархально и гладко. Муж уходил часов в одиннадцать на службу, а жена с Алей и бонной ходила гулять, играла на фортепиано, вела дневник и читала. Читала романы, почти всегда иностранные, так как тоже воспитывалась за границей, читала все, что можно было прочесть по воспитанию, и прежде всего, конечно, Жан-Жака Руссо.

Выглядела она вполне уравновешенным, спокойным и довольным своей судьбой человеком.

Со времени известия о приезде к ней сестры ее Аделаиды, или Адели, как называла ее Евгения Борисовна, Евгения Борисовна и Маня еще больше сошлись. Маня постоянно бегала наверх и возвращалась оттуда веселая, задорная и, проходя мимо Тёмы, ерошила ему волосы по дороге и ласково бросала что-нибудь вроде:

– Ах ты, Тёмка, урод!

И Евгения Борисовна еще больше покровительственно смотрела на Карташева и говорила с ним как-то загадочно и даже как будто лукаво.

Она не была кокеткой, Карташев не относил это лично к себе и еще более смущался от всего этого.

Иногда вдруг Маня принималась хохотать, как сумасшедшая. Карташев смотрел на нее, на улыбающуюся Евгению Борисовну, и ему становилось и самому весело, а особенно когда и Евграф Пантелеймонович тоже начинал улыбаться. Прежде он почти никогда не улыбался Карташеву, и Карташев в этом видел, что начинает приобретать симпатии даже и сурового генерала, прежде относившегося к нему с недоверием, а теперь все более и более расположенного к нему. И это Карташеву было очень приятно.

Он любил, чтобы к нему хорошо относились, любил и умел добиваться этого.

– Вероятно, – решил Карташев, – он думал, что я буду ухаживать за его женой, и, убедившись, что не ухаживаю, переменял свое обращение со мной.

Однажды под вечер Карташев пошел прогуляться к морю и возвратился домой, когда уже были сумерки.

Прозрачные, ласкающие окна их квартиры были раскрыты, и Карташев услышал игру на рояле. Игра была нежная, мягкая, звуки точно лились – и прямо в душу.

Кто это так играл? Игра Мани была бурная, звучная; правда, у Зины было тоже очень мягкое туше, но Зина – в деревне.

Парадные двери были не заперты, и Карташев вошел в гостиную. За роялью сидела незнакомая худенькая женская фигурка с закрученной на голове косой. У рояля сидела лицом к нему Маня и задумчиво, под впечатлением музыки, смотрела в пол.

Шум отворявшейся двери остановил игру. Незнакомая девушка оглянулась на Карташева, перестала играть и смущенно смотрела на Маню.

– Мой брат, – сказала Маня и назвала брату свою гостью: – Аделаида Борисовна Воронова.

И так как лицо Карташева ничего не выражало, то она прибавила:

– Сестра Евгении Борисовны.

– А! – радостно сказал Карташев.

Сестра Евгении Борисовны уже друг и семьи и его, а особенно такая чудная музыкантша, такая изящная, такая скромная, такая застенчивая.

И сколько достоинства, сколько прелести в этой маленькой фигурке, выглядывающей почти еще девочкой.

Обыкновенно первые шаги знакомства – самые тяжелые. Люди натянуты, хотят что-то изобразить из себя необычное. Так, по крайней мере, всегда бывало с Карташевым. А тут произошло совсем обратное: Карташев сразу почувствовал себя в своей тарелке, стал восторгаться ее игрой, просил ее еще играть. Карташев развеселился, начал рассказывать разные глупости, от которых и он сам, и Маня, и Аделаида Борисовна чуть не до упаду смеялись.

Потом пришли Аня, Сережа. Приехала из города Аглаида Васильевна, пришла Евгения Борисовна, пили чай, сидели на террасе, и вечер прошел незаметно и быстро.

Весь под настроением, Карташев провожал Аделаиду Борисовну и сестру ее наверх, помог ей надеть шотландскую накидку, нес ее шкатулочку из розового дерева, в которой лежало ее шитье.

И накидка, и шкатулочка, и она вся, когда уже ушла, стояли перед ним, и, возвратившись, он в каком-то очаровании слушал рассказы о ней своих домашних.

Всех очаровала Аделаида Борисовна.

Даже Аня сказала:

– Вот это – человек, настоящий, хороший человек.

– Ласковая какая, мягкая, а глаза, глаза, – восхищалась Маня.

Сережа сказал:

– И при этом она ведь и совсем некрасива.

– А, ну, что такое красота? – досадливо воскликнула Маня. – Кукла красивая, а что с нее толку?

– В ней именно удивительная человеческая красота, – качала головой Аглаида Васильевна. – Я много видала девушек на своем веку, – и Аглаида Васильевна точно опять пересматривала их всех в своей памяти, – но такой воспитанной, такой скромной, такой обаятельной...

– А сколько достоинства в то же время? – сказала горячо Маня и добродушно, вызываясь обратиться к старшему брату. – А ты что молчишь? Ты что, очумел или от природы такой чурбан бесчувственный?

– Маня! – сказала Аглаида Васильевна.

– Да, что ж он, мама, сидит, сидит, как не живой между нами. Ну? Говори...

Карташев с наслаждением слушал похвалы, расточаемые Аделаиде Борисовне, готов был от себя еще столько же прибавить, но когда Маня обратилась к нему, он потянулся и нехотя сказал:

– Девушка как девушка: симпатичная...

– Что?! – взвизгнула Маня. – Ах ты свинтус, ах ты оболтус, ах ты Вахромей!

– Маня, Маня! – звала ее Аглаида Васильевна.

Но Маня не слушала. Ее волосы рассыпались, глаза сверкали, как бриллианты, она наступала на Тёму и визжала:

– Да я тебе, негодному, все глаза твои выцарапаю, своими руками задущу негодяя...

– Я ухожу, – в отчаянии сказала Аглаида Васильевна.

– Хорошо, я больше не буду, но я так зла, так зла...

Она быстро то сжимала, то разжимала пальцы рук и проговорила комично:

– Хоть бы кошка мне, что ли, попалась, чтоб разорвать ее в мелкие клочки.

Все смеялись, Карташев довольно улыбался, а Маня продолжала:

– Нет, как вам нравится? Можно сказать, ангел сошел на землю, а он, чучело...

– Маня, что за манеры?!

– Манеры? Разве с таким господином хватит каких-нибудь манер?! Ну, хорошо же! Только ты ее и видел! На коленях будешь умолять, ручки мне целовать – никогда!

Она ходила перед Карташевым и твердила:

– Помни, помни – никогда! И заруби это себе хорошенько на своем носу-лопате!

Она остановилась перед братом, взялась в бока и сказала:

– Ну! Повтори теперь еще раз, что ты сказал?

– Сказал, что она очень симпатичная и милая...

– Дальше, дальше.

– Что ж дальше?

– Ну, уж говори прямо, что влюбился, – сказал Сережа. – Я, по крайней мере, – готов.

– Молодец, Сережка! Вот настоящий мужчина, а не такой кисляй, как ты.

– А нога у нее некрасивая: длинная, на низком каблуке, – заметил Тёма.

– Смотрите, смотрите, успел уж и под платье заглянуть...

– Маня!

– Дурак ты, дурак, – продолжала Маня, – нога ее в великолепном, самом модном, летнем ботинке. И всякую ногу одень в такой ботинок, она будет длинная и узкая, как у обезьяны. И через полгода ты и не увидишь другого фасона. И слава богу, потому что нет ничего ужаснее этого полуторааршинного каблука, торчащего на середине подошвы. И в таком ботинке и нога слона и та будет ножкой, а такие, ничего не понимающие, как ты, будут только вздыхать от восторга: ах! ах! Ну, а играет она как?

– Играет прелестно, и если Сережа уже влюбился в нее, то я тоже влюбился в ее музыку.

– Не беспокойся, черт полосатый, влюбишься и в нее.

– Маня! То есть после тюрьмы у тебя такие стали ужасные манеры, замашки, выражения...

– Одним словом, известно, острожная, пропащий человек, и конец.

И Маня хлопнула по плечу старшего брата.

– Ну, ты совсем уж разошлась, – сказала мать, – идем лучше спать.

Но Маня, проходя через гостиную, присела к роялю, и долго еще сперва шумная, а потом тихая музыка разносилась по дому. Под окном кто-то кашлянул. Маня остановилась, прислушалась и встала.

Теперь лицо ее было совершенно другое, напряженное, немного испуганное.

Оглянувшись и увидев на кресле старшего брата, она быстро приняла свой обычный вызывающий вид.

– Ты что здесь делаешь? – накинулась она на него, – пора спать.

– Ну, спать, так спать, – согласился Карташев и пошел в свою комнату.

А Маня дразнила его вдогонку:

– А-га, а-га! хочется поговорить, заслужи сначала! Ты думаешь – такое сокровище даром дают. Надо стоять ее.

– Оставь себе это сокровище, – повернулся к сестре в дверях Карташев и, не дожидаясь ответа, затворил за собою дверь.

Маня не двигалась, пока не затихли его шаги, затем торопливо подошла к окну и кашлянула.

Когда раздался ответный кашель, она наклонилась в окно и тихо спросила:

– Кто?

– Ворганов.

– Проходите через парадную дверь на террасу. – И подождав еще, она пошла на террасу.

Там стоял молодой человек, светлый блондин, в пиджаке.

Маня и молодой человек крепко пожали друг другу руки.

– Благополучно? – спросила Маня.

– Вполне.

– Давно приехали?

– Сегодня.

– Долго пробудете?

– Несколько дней, вероятно...

Молодой человек усмехнулся.

– Жизнь коротка...

– Да, коротка! – вздохнула Маня.

– Жалко, что вы киснете здесь.

– Кисну?..

– Как у вас с матерью?

– Мать уже прошлое. Какую-то сказку, я помню, читала про страшного волшебника, который жил на дне моря, которому на завтрак было мало кита, а в конце концов от старости он стал таким маленьким, что самая маленькая рыбка его проглотила и не заметила даже.

– Так и во всем нашем деле будет.

– Будет-то будет, доживем ли только мы с вами до чего-нибудь хорошенького?

– Доживем. Особенно наш период будет чреватый. Собственно, организованной работе в деревне конец: урядники, смертные приговоры за агитацию ставят партию в безвыходное положение и волей-неволей поворачивают на путь политической борьбы, пропаганды путем нелегальной печати, политического убийства. Сочувствие со стороны общества, во всяком случае, большое. Главный симптом – деньги, прилив небывалый.

– В университет назад не думаете?

– Пока работа есть – нет. Вы знаете, что завтра у нас собрание?

– Знаю и буду. Опять шпиона выследили?

Маня сделала брезгливую гримасу.

– Не люблю этих дел. Доказательств всегда так мало, а уж одно подозрение навсегда вычеркивает человека из списка порядочных. Вот Ахматова: у меня положительно впечатление, что она невинна... И если она действительно невинна, тогда что? Что будет она переживать всю остальную свою жизнь? А мы с таким легким сердцем готовы кого угодно заподозрить, забросать грязью. Брр... – Маня вздрогнула.

Дверь на террасу открылась, и Аглаида Васильевна угрюмо спросила:

– Кто тут?

Маня ответила:

– Я.

– Ты одна?

– Нет.

После некоторого молчания Аглаида Васильевна очень недовольным голосом спросила:

– Спать скоро пойдешь?

– Скоро.

Дверь затворилась.

Когда через час Маня провожала своего гостя, он спросил ее:

– Не влюбились?

Маня равнодушно махнула рукой.

– Я слишком ненавижу, чтоб было еще место для любви.

– Звонко сказано! – усмехнулся молодой человек. – А я вот все мучаюсь и от того и от другого!

– И на здоровье! Дай бог только поменьше удач в любви и побольше в ненависти.

Маня захлопнула дверь, заперла ее и пошла к себе.

Как ни тихо проходила она коридором, сонный голос из спальни окликнул ее:

– Ты, Маня?

– Я.

И Маня быстро шмыгнула в свою комнату, пока опять не заговорила Аглаида Васильевна.

– Маня, зайди ко мне. – После молчания она опять сказала: – Маня!

Никто не отвечал.

– Ушла к себе! – Гнев охватил Аглаиду Васильевну, и первым побуждением было встать и грозно идти к Мане. Но она продолжала лежать в каком-то бессилии. Она только плотнее прижала свою белую голову к подушке и очень скоро опять заснула.

VI

В пять часов утра Аглаида Васильевна была уже на ногах. Она долго стояла на коленях перед своим большим киотом, уставленным образами. Были тут и старые и новые, были и в золотых и серебряных ризах, были и маленькие без всяких риз, совершенно темные. Висели крестики, ладанки, лежали пасхальные яйца, одно маленькое, красненькое, десятки лет уж лежавшее, совершенно высохшее и только во время тряски издававшее тихий звук от засохшего комка внутри.

Каждую пасху Аглаида Васильевна брала яйцо в руки и погружалась на несколько мгновений в соприкосновение с тем, что было когда-то.

– Мама, что это за яичко?

– Вам это знать не надо.

Был канун троицы. Аглаида Васильевна ждала сегодня Зину с внуками и внучками.

Она молилась больше часу. Встав, утомленными тихими шагами она прошла в столовую, взяла спиртоварительную кастрюльку, кофейник, кофе, сливки, просфору и вышла на террасу.

Радостное, светлое утро ослепило ее.

В соседнем монастыре уже звонил колокол.

«Хороший знак!» – подумала Аглаида Васильевна.

Она положила все предметы на стол и медленно, удовлетворенно три раза перекрестилась. Затем она села в соломенное кресло и некоторое время отдавалась охватившему ощущению красоты картины.

На террасе была тень, была прохлада, а там, на море, на горах, солнце уже ярко сверкало.

Как будто настал уже великий праздник и природа в сознании его замерла, охваченная восторгом, счастьем, сознанием своей жизни, бытия.

Только люди густой муравьиной толпою на пристанях копошились, и глухой гул толпы неся оттуда.

Аглаида Васильевна отыскала глазами купол собора, опять трижды перекрестилась. Затем она начала варить себе кофе.

Эти часы были лучшими в ее жизни. Потом проснутся дети, ворвутся, шум и заботы дня у каждого свои, многосложные, перепутанные; приедет Зина с детьми, а теперь часы отдыха, часы, когда она только с богом, когда она набирается сил для всего предстоящего дня.

А чтоб их иметь достаточно, прежде всего мудрое правило – довлеет дневи злоба его, и другое – на все его святая воля. Думала в эти часы Аглаида Васильевна только о приятном.

Вот сын кончил и приехал. Пережить с ним пришлось больше, чем со всеми остальными, вместе взятыми, детьми. Буквально был вырван из объятий смерти, из объятий ужасной болезни.

Самого его заслуга, конечно, большая, но еще большая Наташи, которая свою жизнь отдала за него. А еще большая, конечно, святого Пантелеймона, которому умирающего тогда сына передала Аглаида Васильевна. Надо сегодня отслужить ему молебен, надо на Афон из первого жалованья сына отправить двести рублей... И непременно заказать образ со святыми Артемием и Пантелеймоном. Конечно, величайшая ее мечта, чтоб к концу жизни ее Тёма, прошедший уже весь тяжелый путь искупленья, в созерцании познанной жизни, последние свои минуты провел уже под схимой, приняв имя подарившего ему жизнь – Пантелеймона.

И еще об одной мечте своей подумала и вздохнула Аглаида Васильевна. Чтоб на этом образе была и та святая, имя которой будет носить подруга жизни ее сына.

«Аделаида», – где-то в самых тайниках сознания пронеслось это имя, но Аглаида Васильевна отогнала это, как суетное пока, и, крестясь, громко сказала:

– Во всем будет твоя святая воля!

Было много и неприятного, что хотя и гнала от себя Аглаида Васильевна, но все-таки прокрадывалось в голову: Маня и ее отношения к революционной партии! За одно была спокойна только Аглаида Васильевна, что здесь ни о каких любовных похождениях не могло быть и речи.

Все ее дочери в этом отношении больше чем застрахованы. Она сумела внушить им не только ужас, но даже полное отвращение ко всему, что не освящено браком, традициями.

Даже и при таких условиях эта сторона жизни не удовлетворяла их. Пример Зина. Все ссоры и раздоры ее с мужем, разгул мужа, все расстройство его дел – причиной всему было отношение к нему его жены. Эту сторону жизни Зина называла животной и говорила о ней с раздражением, бешенством и тоской.

– Я не могу, не могу выносить его ласки, когда его лицо делается животным, бессмысленным, это так отвратительно, так невыносимо ужасно!

И прежде Наташа, а теперь и Маня и Аня слушали и сочувствовали ей всеми тайниками своего существа. И даже в детях Зина не находила утешения, потому что и они были порождением того же омерзительного, греховного и тех мгновений, когда и она сама была унижена.

В последнее время особенно обострились отношения между Зиной и ее мужем. Она не хотела больше детей и единственный способ настоять на своем видела в прекращении супружеских отношений. Муж ее рвал, метал, пьянствовал, развратничал и все больше запускать дела. Из последнего займа в пятьдесят тысяч под будущий посев он привез домой только пятнадцать. Это уже знала Аглаида Васильевна из письма. Что-то у них там теперь? Как внуки? Сердце Аглаиды Васильевны радостно забилося. Эти внуки были ей теперь дороже, чем собственные дети, их любовь, их вера в ее силы. Слово – баба, – с которым они постоянно обращались к ней, чувствуя в ней и защиту и высший авторитет, звучало в ее ушах, как лучшая музыка в мире.

Когда все проснулись и пили чай и кофе на террасе, Аглаида Васильевна вышла, уже одетая в обычное черное платье, с черной кружевной косынкой на голове, и сказала:

– Тёма, я не касаюсь твоих религиозных убеждений, и не для тебя, а для себя, я прошу тебя и даже требую, чтобы ты пошел со мною в церковь отслужить молебен святому Пантелеймону.

Карташев смотрел на мать и все еще никак не мог свыкнуться с переменой в ее лице от выпавших зубов. Лицо ее стало от этого приплюсненным снизу. Как-то было жалко и смешно смотреть на всю ее и вызывающую и неуверенную в то же время фигуру.

– Я ничего не имею против, – ответил Карташев.

Все облегченно вздохнули, насторожившись было, как бы Тёма не сделал из этого министерского вопроса. В церковь пошли только мать и сын. В ближайшую монастырскую церковь. Надо было только повернуть за угол, и перед глазами уже вставали белые монастырские стены с большими воротами посреди. Из-за стены выглядывали большие деревья густого тенистого сада. В воротах с кружкой стояла пожилая, полная, благочинная монахиня, которая радостно кланялась поясным поклонами Аглаиде Васильевне. Подойдя, Аглаида Васильевна поцеловалась с монахиней и, показывая на сына, сказала:

– Вот позвольте вам, мать Наталия, представить моего первенца. Приехал из Петербурга, кончил курс, инженер.

Мать Наталия кланяется, кланяется и Карташев.

– Идем молебен отслужить святому Пантелеймону, я вам рассказывала...

– Как же, как же, помню, помню! Радостно видеть своими глазами чудо господне, его святого Пантелеймона и нашего покровителя молитвами содеянное.

– Святой Пантелеймон, – пояснила мать сыну, – покровитель этого монастыря.

Карташев первый год жил на этой квартире и раньше никогда не бывал в монастыре.

Когда Аглаида Васильевна проходила дальше, монахиня ласково-просительно сказала:

– А уж после молебна не откажите с сынком в келейку нашу испить чашечку чаю. Не побрезгуйте, – поклонилась она и Карташеву, – мы вашу матушку чтим, как нашу мать родную, а вас, как брата нашего общего отца и покровителя святого Пантелеймона. Вы образ его на воротах приметили?

– Как же, как же!

Карташев поклонился монахине и, идя с матерью по мощеным плитам монастырского двора, сказал:

– Очень симпатичная и не глупая.

– О, очень не глупая. Она всем монастырем управляет собственно, но и самая смиренная, как видишь, не пренебрегает никаким трудом, никогда послушнице не позволяет прибрать у себя, все решительно сама делает.

Церковь, охваченная с трех сторон деревьями, сверкала своими белыми фронтонами.

– Смотри, как радостно, точно машут нам деревья, – сказала мать.

– Очень уютно и очень чисто, – ответил сын.

Когда они входили под своды церкви, женский хор где-то на хорах звонко пел, а священник, благословляя редкую толпу, говорил:

– Благословение господне на вас.

Мать радостно, тихо шепнула сыну:

– В какой момент вошли – чудный знак!

– У вас ведь плохих нет, – так же тихо ответил ей сын.

Мать встала на колени и погрузилась в молитву.

Обедня кончилась, мать пошептала с диаконом, и сейчас же начался молебен.

Мать весь молебен прослушала на коленях. В одном месте молебна она дернула сына за ногу и показала на пол. Он тоже встал на одно колено и наклонил голову, думая, долго ли надо ему так стоять. Ноги его затекли, и он опять поднялся на ноги, думая, как это мать может стоять так долго.

Когда молебен кончился, он сказал это матери.

– А завтра три часа придется стоять так!

– Почему?

– Первый день троицы, весь акафист святой троицы – все на коленях.

– Хорошо, что предупредили, – усмехнулся Карташев.

– Глупенький, это твое дело, мне важно было сегодняшнее. Ты мне такой праздник сегодня сделал... Больше, чем окончание курва.

И священнику и диакону мать представила сына.

Священник покровительственно смотрел на Карташева и говорил:

– Ну, стройте, стройте нам дороги, да покрепче, чтоб костоломками не были. Место уже имеете?

– Нет еще.

– Ну, все в свое время. Довлеет дневи злоба его.

– Вот, вот, батюшка, – сказала Аглаида Васильевна, – золотыми буквами в сердце всякого должны быть написаны эти слова.

– А без этого как жить? Разве чирикали бы так беззаботно птички, была бы вся эта божья благодать?

И священник указал кругом. В открытые окна церкви заглядывали зеленые деревья, белые и розовые кисти цветущих акаций, сверкало там за окнами солнце, еще более яркое от прохлады в церкви. Уже вносили траву для завтрашнего дня, и этот аромат свежих трав, настой мяты, васильков и других полевых цветов слился с свежим и сильным запахом белой акации, сирени.

Они повернулись к выходу, и Карташев вдруг увидел у одной из колонн скромную фигурку Аделаиды Борисовны.

Аглаида Васильевна так и рванулась к ней и, горячо целуя, сказала:

– Голубка моя стоит здесь... Вы были на молебне?

– Да.

– Я никогда вам этого не забуду! Сегодня такой для меня праздник...

Аделаида Борисовна покраснела, как краснеют девушки ее возраста – до корня волос, до слез.

Карташев с несознаваемым восторгом смотрел на нее.

Но при выходе Аделаиде Борисовне пришлось еще раз покраснеть и даже совсем стореть от стыда.

У притвора стоял нищий, высокий старик, угрюмый, державший себя с большим достоинством.

Аглаида Васильевна остановилась и подала ему.

Аделаида Борисовна достала маленький изящный кошелек, вынула оттуда серебряную монетку и тоже подала.

Старик посмотрел на нее и сказал:

– Да пошлет тебе господь хорошего мужа! Святому Артемию молись.

Выходившая уже Аглаида Васильевна остановилась, как пораженная громом. Она так и стояла, пропустив вперед сына и Аделаиду Борисовну, а затем, повернувшись к церкви, перекрестилась и положила земной поклон. После этого она подошла к нищему и, подавая ему трехрублевую бумажку, сказала:

– Молись, угодный богу человек, чтоб пророчество твое сбылось! – И совсем шепотом прибавила: – Молись за Артемия и Аделаиду!

И Аглаида Васильевна вышла на полянку, где ждали ее сын, Аделаида Борисовна, мать Наталия и другая монахиня, тоже пожилая, маленькая, полная.

– Милости просим!

– Позвольте прежде всего, дорогие мои, – сказала Аглаида Васильевна, – познакомить вас с этой дорогой моей барышней. Она сестра Евгении Борисовны.

– А-а! – воскликнули монахини и жали руку Аделаиды Борисовны.

– Ну, тогда и вас уж тоже позвольте просить для знакомства на чашечку чаю.

Мать Наталия, махнув рукой и добродушно прищурившись, сказала:

– Уж все равно заводите знакомство, чем с одним, – она посмотрела на Карташева, – так вдвоем еще веселее.

Она скользнула по Аделаиде Борисовне и, низко кланяясь, протягивая рукой вперед, кончила:

– Милости просим, милости просим, и да благословит ваш приход господь бог и святой Пантелеймон наш! Мать Наталия и мать Ефросиния, вперед дорогу показывайте!

– Ну, или так – мать Наталия вперед, а я сзади, чтоб не разбежались! – сказала вторая монахиня.

– И я с вами! – сказала ей Аглаида Васильевна.

Так они и шли под боковой колоннадой, и шаги их звонко отдавались по плитам, – впереди мать Наталия, потом Аделаида Борисовна и Карташев, а сзади Аглаида Васильевна с матерью Ефросинией.

Потом пошли длинным желтым коридором с такими же каменными плитами, темными, блестящими и звонкими. В окна коридора лил яркий свет, по другую сторону коридора шел ряд дверей в кельи. Иногда такая дверь отворялась, и оттуда выглядывала голова монашки. Увидев Аглаиду Васильевну, монашки радостно целовались, а Аглаида Васильевна знакомила их с ее сыном и Аделаидой Борисовной.

– А вот и наша хата! – сказала мать Наталия, широко распахивая дверь своей кельи и низко кланяясь. – Не побрезгуйте, Христа ради!

Все вошли в низкую продолговатую и узкую келью с маленьким окошечком в тенистую часть сада. В келье пахло кипарисом, мятой и еще какими-то пахучими травами или маслами.

Вдоль одной стены, ближе к окну, стояла застланная нара, против нее вдоль противоположной стены стенной шкаф со множеством полочек и ящичков.

Ближе к двери простой деревянный стол, покрытый цветной скатертью. Принесли еще два табурета, и все сели.

Молодая монахиня внесла медный, ярко блестящий самовар. Самовар кипел, пышно разбрасывая вокруг себя струи белого пара.

Молодая монахиня поставила самовар и ждала приказаний. Это была стройная, красивая, с живым взглядом черных глаз девушка.

– Вот, позвольте вас познакомиться, – сказала, привставая, мать Наталия, – наша молодая послушница Мария, во Христе.

– Мы знакомы, – приветливо ответила Аглаида Васильевна и поцеловалась с молодой монахиней.

Молодая Мария прильнула к Аглаиде Васильевне, так же радостно прильнула и к Аделаиде Борисовне и, потупясь, протянула руку Карташеву.

– А теперь, дорогая Мария, – сказала мать Наталия, – принеси нам хлебушка, икорки, балычка, грибов.

Мария бросилась было к дверям.

– Да, постой! – спохватилась мать Наталия, – принеси и сливочек. – И, обращаясь к Аглаиде Васильевне, прибавила: – Что ж нам неволить их? – Она показала на молодежь. – Придет еще время им поститься.

– Какая красавица ваша Мария! – качала головой Аглаида Васильевна, – и какая молодая! Невольно страшно за нее: вдруг – пожалеет.

– Господь спаси и помилуй, – перекрестилась мать Наталия, – у нас в болгарском монастыре был такой случай... Мария ведь тоже болгарка; еще девочкой со мной была! Ох, и перестрадали мы!

Разговор перешел на болгарские монастыри, на Болгарию, откуда мать Наталия только в прошлом году приехала. Начавшаяся война вызвала особый интерес к стране, за которую лилась теперь кровь.

Принесли просфоры, хлеб, икру, балык, грибки и сливки.

Все, не исключая и послушницы, сели около стола. Мать Наталия рассказывала, не торопясь, толково и умно.

– И красивы же болгарки. Таких красивых женщин, я думаю, нигде в мире в другом месте нет. Видала я Библию с рисунками. Так вот там только такие лица. И лицом, и складом, и поступью – всем взяли – каждая царица. А мужики у них маленькие, кривоногие, и, прости господи, есть такие уроды, что во сне увидишь – и испугаешься.

И когда все смеялись, мать Наталия смотрела, кивала головой и добродушно повторяла:

– Уроды, уроды...

– Есть и красивые! – сказала послушница и покраснела.

– Старыми глазами, может, и проглядела, – ответила сдержанно мать Наталия и заговорила о своей предстоящей поездке в соседний монастырь.

Напившись чаю, гости встали и, приглашая монахинь, попрощались с ними.

На обратном пути в коридор высыпал весь монастырь. Были тут и старухи и молодые. Все они ласково кивали головами, иногда крестили и по проходе о чем-то шушукались.

Аглаида Васильевна услышала один этот возглас:

– В добрый час!

И, наклонив голову, перекрестилась.

Прямо из монастыря Аглаида Васильевна поехала по делам в город, а в это время мать Наталия крикнула Аделаиде Борисовне и Карташеву:

– А в садике нашем и не побывали; зайдите посмотреть!

Карташев посмотрел на Аделаиду Борисовну, та – нерешительно на него, мать Наталия настаивала, и оба они возвратились назад в монастырь.

Аглаида Васильевна уже с извозчика оглянулась, но у ворот стояла только мать Наталия, которая и показала ей широким замахом на монастырь, крикнув:

– Заманила опять ваших голубков!

– Постой!

Аглаида Васильевна сошла с извозчика, и к ней быстро подошла мать Наталия.

– Ведь знаете, мать Наталия, я только сейчас вспомнила свой сегодняшний сон! Стою я будто у окна, и вдруг белая голубка опустилась ко мне на плечо и так воркует, так ласкается...

– Божий сон – в руку сон! Чтоб не сглазить. Да не сглажу – глаза голубые ведь у меня... Сколько живу, сглазу не было... Давай бог, давай бог.

Обе женщины еще раз поцеловались, и мать Наталия, вдруг отяжелев, слегка прихрамывая, пошла в монастырь.

Во дворе уже никого не было. Еще на улице она слышала радостный возглас:

– Пожалуйте, пожалуйте!

Теперь она слышала веселый говор в саду.

Мать Наталия, подумав: «И без меня там справятся», – пошла по хозяйству.

VII

Дома ждала телеграмма от Зины: «Если Тёма может приехать за мной, то на троицу приеду с детьми».

Карташев в тот же день выехал за сестрой в имение Неручевых «Добрый Дар».

«Добрый Дар» находился в северо-западной части Новороссийского края, где местность уже теряла свой исключительно степной характер.

И здесь также открывались перед глазами необъятные степи, но местами попадалась и взволнованная местность, изрытая крутыми оврагами, подымались тут и там высокие холмы, а иногда торчали скалы, обнаженные, угрюмые, на которых вили свои гнезда сильные орлы, называемые беркутами.

Под вечер сверкнула перед ним красная крыша господского дома, и он опять увидел знакомые места. Вспомнил еврейку и нарочно по дороге заехал в корчму узнать, как она поживает. Но старый еврей Лейба с большой белой бородой, почтенный, солидный, на вопрос Карташева ничего не ответил и даже совсем ушел.

Какая-то дивчина-наймичка, с высоко заткнутой за пояс сподницей, из-под которой обнажались до колен ее голые ноги, с большими грудями, болтавшимися под рубахой, торопливо рассказала Карташеву, что дочь Лейбы убежала с соседним барином и теперь в монастыре, где примет христианство и выйдет за барина замуж. А старик Лейба после бесполезных хлопот проклял дочь и никогда об ней больше не говорит.

Весь охваченный воспоминаниями, въезжал Карташев в знакомый двор усадьбы.

Вот каретник, где когда-то произошла смешная сцена с ним и Корневым.

Тогда пара любимых Неручевым лошадей, когда их запрягли, вдруг заартачилась и долго не хотела взять с места.

Неручев тогда рвал и метал, и его громовой голос несся по двору, и всё и вся дрожало от страха, когда вдруг Неручев упавшим голосом, как-то по-детски, сказал:

– Ну, давайте ножи, будем резать лошадей!

Этот переход, хотя и обычный, бывал всегда так смешон, что Карташев и Корнев, стоявшие сзади коляски, фыркнули и присели за коляску, чтоб их не увидел Неручев.

Но как раз в это время кони рванули, наконец умчались, и остались сидящие на корточках Карташев и Корнев, а перед ними Неручев, отлично понимавший, что смеялись над ним. На этот раз, так как взрыв уже прошел, Неручев новым не разразился и, молча повернувшись, пошел от них прочь.

На крыльцо выбежали встречать дети, Зина, бонна. Не было только Неручева.

Зина горячо несколько раз обнимала брата.

Какая-то перемена была в ней: она стала ласковая, мягкая, со взглядом человека, который видит то, чего другие еще не видят и не знают.

Она избегала говорить о себе, о своих делах и с любовью и интересом, трогавшими Карташева, расспрашивала его об его делах.

– Постой... – сказала она, и лицо ее осветилось радостью.

Они сидели на скамье в саду, в широкой и длинной аллее. Она встала и ушла в дом, а Карташев в это время стал раздавать детям подарки.

Зина скоро вернулась с маленьким ящичком. В нем был академический значок, выполненный в Париже по особому заказу Зины ручным способом.

Работа была удивительная.

– Пусть этот знак будет всегда с тобой и напоминает тебе меня.

Голос Зины дрогнул, и она вдруг заплакала.

– Мама плачет! – крикнул встревоженный старший мальчик и, бросив игрушки, кинулся к матери; за ним побежала и маленькая лучезарная Маруся, но второй, черноглазый, трехлетний Ло не двинулся с места и только впился в мать своими угрюмыми черными глазенками.

Но Зина уже смеялась, вытирала слезы, целовала детей, Тёму.

Потом все пошли обедать. И за обедом не было Неручева. Зина вскользь сказала, что он возвратится к ночи.

На вопрос Карташева, как дела, Зина только брезгливо махнула рукой.

После обеда Зина играла и пела.

Вечером они сидели на террасе и прислушивались к тишине деревенского вечера, с особым сухим и ароматным воздухом степей.

Где-то в горах сверкал ярко, как свечка, огонек костра, неслась далекая песня, мелодичная, печальная, хватающая за сердце.

– Ну, ты устал, а потом завтра опять дорога, ложись спать.

Карташева положили в той же комнате, где когда-то они спали с Корневым, и опять воспоминания нахлынули на него.

Так среди них он и заснул крепким молодым сном.

Проснувшись и одевшись, он вышел на террасу, где уже был приготовлен чайный прибор, но никого не было. Он спустился по ступенькам в сад. Прямо от террасы крутым спуском шла аллея вниз, к пруду.

Пруд сверкал и искрился в лучах солнца, окруженный высокими холмами, а местами обнажившимися скалами, угрюмо нависшими над прудом.

У той скалы ловили они с Корневым раков, на том выступе жарили лягушек и ели, в то время как Наташа, Маня и Аня с ужасом смотрели на них.

Несмотря на июнь, было прохладно, и уже покрасневшая трава на холмах говорила еще сильнее об осени, придавая всему особый колорит и особую прелесть.

И небо было сине-голубое, какое бывает только осенью.

Карташев медленно возвращался назад к дому и был уже недалеко, когда двери дома вдруг распахнулись, и из них вылетела в белом пеньюаре с распущенными волосами Зина, а за ней взбешенный, растерянный Неручев.

Зина пронеслась мимо Карташева, бросив ему угрюмо, равнодушно:

– Спаси меня от этого зверя!

Лучшего слова нельзя было подобрать. С оскаленными зубами, страшными глазами, он уже настигал жену.

Он очень изменился с тех пор, как не видел его Карташев. Пополнел, обрюзг, с большим животом.

Худой и тощий Карташев, в сравнении с ним, массивным, коренастым, представлял из себя ничтожное сопротивление. Чтоб увеличить его, Карташев успел схватиться одной рукой за ветку дерева, и пригнувшись, другой обхватил Неручева и тоже схватился за ветку, и таким образом Неручев очутился в объятиях между Карташевым и веткой.

Карташев обхватил его вокруг живота, и ему казалось, что большой, жирный и мягкий живот Неручева переливается через его руки и вот-вот лопнет.

– Пустите! – прохрипел Неручев, безумными глазами впиваясь в Карташева. – Пустите, а то плохо будет!

И Неручев поднял над головой Карташева свои страшные кулаки.

– Я знаю, что плохо, потому обе руки мои заняты, и я в вашей власти. Но, дорогой Виктор Антонович, – заговорил Карташев, – бейте меня и даже убейте, не могу же я не удержать вас от того позорного, что неизгладимым пятном ляжет на вас. Ведь это же – женщина.

– А, женщина! – бешено закричал Неручев. – Вы знаете, что эта женщина сделала со мною? Она дала мне пощечину.

– Это ужасно, конечно, – заговорил Карташев, продолжая крепко держать Неручева, – это дает вам право прогнать ее, развестись с ней, но, ради бога же, не унижайте себя, не губите себя, меня...

– Пустите меня, – сказал Неручев уже другим, обессиленным голосом, напоминаясь Карташеву тот голос, когда он говорил:

«Ну, давайте ножи, будем их резать!»

Карташев выпустил его, и тут же на скамейке Неручев начал плакать, жалобно причитая:

– Господи, господи, кто же когда в моем роду был бит и кто не убил бы тут же на месте за такое оскорбление!

Результатом этой сцены было то, что Зина с детьми в этот же день под вечер выехала с Карташевым, не повидавшись больше с мужем.

Впереди в маленькой коляске ехали Зина и Карташев, сзади в большом фаэтоне – дети.

Дорога из усадьбы спускалась к плотине, а потом уже на другой стороне вдоль пруда поднималась опять в гору.

К вечеру еще похолодело и сильнее пахло осенью.

Садилось солнце. И из-за туч какими-то густыми, с красноватым отблеском, лучами освещало и пруд, и сад, и всю на виду теперь усадьбу.

Было что-то бесконечно грустное в этих тонах заката, в безмолвии, холодно сверкавшем пруде, окруженном скалами, над которым взвизгивали и кричали орлы.

Зина сидела и с горечью смотрела на усадьбу, зная, что она никогда уж не увидит в жизни этого уголка, и думала, зачем она его видела, зачем здесь жила, зачем погибли шесть лучших лет ее жизни, похороненные здесь в этой могиле, и не только могиле шести этих лет, но и всех радостей ее жизни, всех иллюзий, всех надежд.

Она страстно и горько сказала брату:

– Будь все это проклято, будь проклят виновник моей разбитой жизни!

Она замолчала; молчал и Карташев. Село солнце, и заволакиваемая сумерками и угрюмо, точно в тон мыслям, молчала округа.

Зина прервала молчание.

– Боже мой, какая нелепая жизнь! И зачем надо было меня выдавать замуж?

Она еще помолчала.

– Если бы не ты, он убил бы уж меня сегодня... и я ничего бы не испытывала больше!

В голосе ее как будто звучало сожаление.

– Что произошло у вас?

– Э, он стал совершенно невозможным человеком. Весь род его такой выродившийся... Ты себе представить не можешь, какой это ужасный, какой извращенный человек!.. Какой ад я переживала с ним! Он всегда меня упрекал в холодности. Он судил по своей развращенной натуре и не допускал мысли, что я такова по природе. В его развратном, расстроенном воображении всегда гнездятся самые ужасные предположения... Он мне в глаза клялся, что поездка, например, к маме – предлог для того, чтобы в большом городе отдаваться самому ужасному разврату. Это я-то. Он рассказывал, что у него там есть они, которые ему и доносят всю эту ерунду. Наконец, что иногда он сам, переодетый, следит за мной и знает все отлично. Наконец, сегодня утром дошел до того, что... а... стал упрекать меня в связи с каким-то мужиком здешним... Вытаращил свои сумасшедшие глаза и кричал мне на весь дом: «Я сам своими глазами видел, и пускай весь мир провалится, пусть сам бог придет и скажет, что нет, я и ему не поверю». От этого гнусного оскорбления у меня в глазах потемнело, и я даже не знаю, как я его ударила... Но, слава богу, слава богу, теперь конец... Еще раньше я получила от него заграничный паспорт... Он твердо убежден, что и за граница мне нужна исключительно для удовлетворения моих всепожирающих страстей, и в периоде самоунижения жалобно твердит: «Я со всем мирюсь и прошу только об одном, чтобы не на глазах». Ведь он, негодяй, ездил ко всем и

рассказывал все свои клеветы, изображая себя жертвой... Прекрасный человек, несущий терпеливо свой крест. Его знакомых я видеть не могу, потому что знаю, что он им наклеветал все, что можно... И как клеветает! Какие комедии разыгрывает! Боже мой, от одной мысли, что это ужасное свое свойство он передал и детям, я начинаю их ненавидеть, и моя жизнь такая ужасная, такая ужасная!

Из опасения, чтобы не было погони, ехали без остановки. Когда подъехали наконец на рассвете к станции, все та же пара прекрасных лошадей, когда-то гордость Неручева, дрожала от утомления, и кучер Петр с грустью говорил:

– Пропали кони, загнали коней.

Поезд, с которым ждали Неручеву с детьми, приходит в шесть часов.

Выехали встречать Зину все.

Ее увидели уж в окошко, и Маня, Аня и Сережа побежали с криком:

– Зина, Зина!

Красивое, суровое лицо Зины смеялось; она улыбалась и кивала головой.

Когда остановился поезд и появилась Зина и детки с бонной и няней, на них накинута и стали целовать сразу по два – один в одну щеку, другой в другую.

Пока старший шестилетний мальчик радостно подставлял свои щечки, младший трехлетний Ло, кличку которого дал ему его старший брат, не обнаруживал никакой радости, начал огорченно и озабоченно рассказывать Мане о своих невзгодах.

Маня завизжала от восторга, вслушивалась в его воркотню и только отмахивалась от остальных, крича:

– Пойдите, пойдите!

Мальчик удивительно чисто и гладко, совершенно ровным и как падающая дробь голосом рассказывал, как он себе ехал и никого не трогал, и как тем не менее к нему приставали и один пузатый и один лохматый, и одна женщина его поцеловала.

– И у нее губы были толстые и мокрые, и она замочила мне лоб, и теперь у меня лоб мокрый! – Ло, с чудными черными глазенками, тип малоросса, снял свою шляпу и, окруженный восторженными лицами своих тетей и дядей и близких, усердно тер ручонкой свой лоб.

– Ах, ты мой бедненький, ах, мой миленький, – умирала над ним Маня, в то время как Зина, пренебрежительно махнув рукой, сказала:

– Вот уж немазаная арба – вечные жалобы, и все виноваты!

Их сестра, двухлетняя Маруся, маленькая красавица с остановившимися сияющими глазенками, восторженно смотрела на всех, на Ло, няню, бонну, мать.

– Дядя Тёма, а помнишь, в прошлом году ты обещал мне...

– Май! – возмущенно перебила его мать.

– Помню, помню! – отвечал Карташев, – и вот что: я с тобой сейчас же и пойду прямо к игрушкам.

– Ну, ради бога! – взмолилась было Зина.

Но Карташев настоял. Ло тоже пожелал с ними ехать. Ло Карташев посадил к себе на колени. Май сел рядом, и они поехали.

Их не ждали и пообедали без них.

Наконец появились и они, нагруженные игрушками.

Май, не снимая шапки, присел на стул, скужающими глазами обвел комнату и спросил:

– А теперича куда?

– Что куда, голубчик? – наклонилась к нему Маня.

– Куда опять поедет?

Все рассмеялись, а Зина говорила:

– Ведь мы все время из имения в имение, с железной дороги в экипаж, из экипажа на железную дорогу – совсем разбештались.

– Теперича, голубчик, никуда больше, теперича вы кушать будете! – объяснила ему Маня.

Май ел с аппетитом, широко раскрывая рот и громко чавкая, и в это время его раскошенные слегка глазки закрывались нежными, почти прозрачными веками, и во всем лице, во всей фигурке чувствовалось что-то беспомощное, слабое.

Аглаида Васильевна сидела над ним, гладила его тонкие, как шелковинки, каштановые волосы и приговаривала:

– Голубчик мой, шутка сказать, два воспаления мозга перенести.

– А дифтерит еще, баба! – напомнил Май.

– Да, да, и дифтерит.

Ло сидел, сдвинув черные брови, и в упор куда-то смотрел острыми глазенками.

Маруся переходила с рук на руки, с восторгом принималась опять и опять целоваться и радостно, неподвижно смотрела на всякого нового, кто брал ее.

– Солнышко! – говорил Сережа. – Будь и всегда такой: грей, свети, кружи головы. Бог даст, и я еще поухаживаю за тобой. А тот, – он показывал на своего брата, – тот уж нет, тот и теперь старый. Плюнь на него и разотри. Вот так, – Сережа плевал, и Маня, нагнувшись, тоже плевала.

– А теперь вот так ножкой разотри.

Ло слез, никем не замеченный, со стула к важно направился на террасу.

Маня первая схватила его и бросилась за ним.

Ло уже успел в это время перелезть через ограду и расхаживал по плоской железной крыше подвального навеса. До земли было больше сажени, и каждое мгновение Ло мог полететь вниз.

Маня так и замерла, увидев это.

Она заговорила жалобно:

– Ло, миленький, иди назад.

Но Ло даже не ответил, делая вид, что не замечает ее.

Маня продолжала упрашивать его, а сама незаметно подвигалась к перилам. Но как только она хотела тоже перелезть на крышу, Ло встрепенулся и быстро побежал к противоположному краю крыши.

Совсем жалобно, замирая от ужаса, она быстро заговорила:

– Не полезу, не полезу, вот – даже отойду!

Она отошла и стала ломать голову, как уговорить упрямяца возвратиться на балкон.

– Я к вам больше никогда не приеду, – начал сам Ло переговоры.

– А почему, голубчик? – робко спросила Маня.

– А потому, что вы никто со мной не хотите разговаривать, вы любите только Мая и Марусю, а меня не любите. Никто меня не любит, ни мама, ни вы, никто...

– Ой, голубчик, я тебя так люблю, так люблю!

– Нет, нет, не любишь, а я знаю одну песенку и умею играть ее.

– Сыграй же мне, мой миленький, дорогой.

Ло еще подумал и ответил безнадежным голосом:

– Нет!

– Ну, хотя отойди от края!

Ло еще подумал и, уставившись в свою тетю потухшими глазенками, ответил еще безнадежнее:

– Нет.

– Почему же все нет, золото мое?

– А зачем ты ко мне пристаешь все?

В это время на террасу вышел Сережа. Маня прошептала ему:

– Спаси его, я сейчас в обморок упаду.

Сережа с напускной суровостью накинулся на Маню:

– Зачем ты пристаешь к Ло? Зачем ты обижаешь его? Постой же, я сейчас выброшу тебя через перила!

И Карташев потащил Маню к перилам.

– Ло, голубчик, спаси меня! – закричала Маня.

Ло бросился, мгновенно перелез через перила и с отчаяньем ухватился за фалды Сережи.

– Ах, ты не хочешь, чтоб я ее бросил! Ну, бог с тобой – держи ее!

– Ах, он спас меня, спас! – обнимала и целовала Маня Ло. – Ты знаешь, Сережа, он знает новую песенку и умеет ее играть.

– Да не может быть!

– Он тебе не верит, сыграй ему!

Ло снисходительно усмехнулся и пошел в комнаты. За ним пошли Маня и Сережа.

Ло подошел к роялю, вскарабкался на стул, и, пока собирался, Маня уже успела шепотом рассказать, что было.

– Надо сейчас же запереть дверь на террасу.

Аглаида Васильевна вскочила сама и быстро повернула ключ.

Ло уже начал играть и петь.

Слух и голос у него были удивительные. По временам он торжествующе вскидывал глазенки на Сережу. Кончив, он быстро, никого не удостаивая взглядом, прошел прямо к террасе.

Ему никто не мешал, но когда дверь оказалась запертой, – он на мгновение замер. А мать сурово сказала:

– Хозяин дома видел, как ты ходил по крыше, пришел и запер дверь.

Ло слушал, стоя спиной ко всем, но в следующее мгновение, прежде чем кто-либо успел помешать, вспрыгнул на окно, а оттуда на террасу. Но сейчас же тем же путем полетел туда Сережа, а в растворившиеся двери – все.

Ло барахтался в руках Сережи. Смеялся Сережа, смеялся Ло, смеялись все.

– Вот так огонь! – говорил Сережа.

– Постойте, я с ним поговорю! – сказала Аглаида Васильевна. – На каждого ребенка надо смотреть как на совершенно взрослого и – действовать только логикой.

Аглаида Васильевна занялась с Ло, а Зина начала рассказывать Тёме о своем житье-бытье, о том, какой несносный человек стал ее муж, как между ними не стало ничего общего.

– Последнее наше столкновение началось тем, что он, напившись пьяным, в таком виде полез было ко мне. Этого еще никогда не бывало. Когда я ему крикнула «вон», он грубо схватил меня за левую руку и стал кричать: «Да ты что себе думаешь, да я тебя избью». Я правой рукой как размахнусь и изо всей силы его ударила по лицу. Он растерялся, выпустил мою руку; тогда я бросилась, схватила револьвер, направила на него и сказала: «Я считаю до трех, и если вы не уйдете, я вас убью». Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и, ничего не сказав, шатаясь, вышел. Я сейчас же дверь на замок, а на другой день выехала с детьми сюда. Утром было объяснение; я настаивала, чтоб он дал мне двухгодичный заграничный паспорт и две тысячи денег.

Уже было известно, что Зина оставляет детей у Аглаиды Васильевны и едет за границу, может, через Константинополь.

– В общем, ты что же решила?

– Я ничего не решила, ничего еще не знаю. Знаю только, что так жить нельзя. Я убью и его и себя; мне противно все, я хочу прежде всего успокоиться немного, забыться.

Расстройство нервной системы и раздражение Зины бросалось сразу в глаза и тяжелее всего отзывалось на детях. Неровность обращения взвинчивала и детей, делала их несчастными, в даже уравновешенная маленькая Маруся на руках у матери, как только та раздраженно

скажет: «Ах, да сиди же ты спокойно, Маруся!» – начинает обиженно собирать губки, а затем кричать, заливаясь слезами.

– Дай ее! – скажет кто-нибудь.

– Ах, да берите – убирайся, гадкая, капризная девочка!

И на руках у других Маруся мгновенно успокаивалась. Личико ее сияло счастьем, глазки радостно, блаженно смотрели, а слезки сверкали, как роса на солнце.

Пришли Евгения и Аделаида Борисовны.

Обе были в восторге от деток.

– Каждый из них, – авторитетно говорила Евгения Борисовна, – красавец в своем роде: Май – это Андрей Бульба, Ло – Остап, Маруся – красавица паненка.

Аделаида Борисовна только нежно смотрела на детей, хотела поцеловать их и не решалась, пока Маруся сама не забралась к ней на колени и начала ее обнимать и целовать.

Когда Аделаида Борисовна заиграла, Зина, сама хорошая музыкантша, пришла в восторг и упрашивала ее играть еще и еще.

Потом заставили и Зину играть.

Игра Зины была грустная до слез, нежная и глубокая.

– Как это чудно! – прошептала Аделаида Борисовна. – Что это?

– Так, мое! – нехотя ответила Зина и заиграла новое.

Вопрос застыл в глазах, во всей напряженной фигурке Аделаиды Борисовны; так и сидела она пораженная, слушая удивительную игру Зины.

Это была действительно какая-то особенная игра. Казалось, что пела невиданная красавица, вся усыпанная драгоценными камнями. И горели на ней голубыми и всеми огнями эти камни, и сверкала она вся неземной красотой, но столько бесконечной грусти и тоски было в этой красавице, в ее красоте, в камнях драгоценных, в ее пении, что хотелось плакать, так хотелось плакать. Аделаида Борисовна, едва успев вынуть платок, уткнулась в него и заплакала. И она была такая беспомощная, одинокая, так вздрагивало ее худое тело.

Когда Зина заметила наконец, какое впечатление произвела ее музыка, она бросилась к Аделаиде Борисовне, а та, в свою очередь, обняв ее, еще горше разрыдалась. Она шептала, всхлипывая, Зине:

– Мне так совестно, так совестно, так жалко вас стало... и не знаю почему... Вы такая красавица... Дети ваши так прекрасны... А я... я... я так некрасива.

Она камнем прижалась к Зине, и слезы ее сразу протекли сквозь платье на Зинину грудь.

Все остальные вышли на террасу.

– Милая моя, дорогая девочка, – ласкала плакавшую Зина, – разве в этом счастье? Что может быть лучше, прекраснее весны, ее аромата, а вы – весна, и такая же нежная, и такая же прекрасная. Вы не красивы? Я не знаю, что такое красота, но прекраснее вас я никого еще не видела, и если вы располагаете даром сразу привязывать к себе все сердца, как мое, то что еще вам надо в жизни? И вас будут любить, и вы будете любить и узнаете то счастье, которого у меня никогда не было и не будет.

Зина заплакала.

И долго они обе не показывались. А когда вышли наконец, то точно поделили между собой все, что имели, – красоту, ласку, смирение и даже уверенность.

Взгляд Аделаиды Борисовны был глубже, увереннее, как у человека, который что-то вдруг узнал или познал и многое понял. А у Зины чувствовался покой удовлетворения человека, выплакавшего наконец то, что камнем лежало на душе.

И весь остальной вечер лицо Аделаиды Борисовны точно светилося, когда, робкая, сосредоточенная, она останавливала свой взгляд на Зине.

На следующий день была троица. Все, кроме Тёмы, были в церкви. Служба так затянулась, что Тёма, соскучившись, пошел тоже в монастырь.

Он обогнул церковь и прошел прямо в сад. Народу везде было много. Нарядной, одетой по-летнему толпой была битком набита церковь, притвор, весь подъезд, все дорожки сада.

В открытые окна церкви несло пение двух женских хоров, струился синий дымок от кадил. Везде был сильный запах увядшей травы.

Карташев углублялся в сад, отыскивая уединения, когда на одной из скамеек увидел Маню Корневу.

Он еще не успел побывать у них и ничего не знал о том, где ее брат, кончивший в прошлом году медицинскую академию. Он смущенно и радостно подошел к Корневой. Она уже не была той распускавшейся девушкой, в которую когда-то он был так влюблен. Но кожа ее была так же бела и нежна, было что-то прежнее в карих глазах, связь прошлого скоро восстанавлилась, и они весело заговорили между собой.

Карташев совершенно не чувствовал прежнего смущения перед Маней и даже заговорил о прежнем своем чувстве к ней.

– Ведь теперь можно уже говорить, теперь это уже такое прошлое... – говорил он.

– Но когда же, когда это было?

– Господи, когда! Да когда вы и Рыльский оба с ума сходили; когда я был вашим поверенным, когда спиной своей закрывал вас, чтобы дать вам возможность поцеловаться.

Маня не потеряла свою прежнюю способность вспыхивать и точно загораться краской. Кожа ее еще нежнее становилась, а глаза сделались мягкие и влажные, и грудь, сквозившая из-под батистового платья, неровно дышала. Она ближе наклонилась и, понижая голос, повторяла:

– Не может быть! Но отчего же вы молчали? Отчего хоть каким-нибудь жестом не дали понять? Хоть так?

Она показала как – мизинцем своей красивой длинной руки – и весело рассмеялась. И смех был тот же – рассыпающегося серебра.

Служба кончилась наконец, и толпа повалила из церкви.

– Ну, надо маму идти искать, – сказала Маня, – слушайте, приходите же!

Она так доверчиво и ласково кивала головой.

– Ах, господи, господи!.. – если б я знала тогда... Слушайте... – Она смущенно рассмеялась. – Ведь сперва я... ну, да ведь прошлое же... ведь я же в вас влюбилась сперва, но вы были так грубы... Ах!

Они шли через толпу и оба были взволнованы, оба были охвачены прошлым. По-прежнему над ними цвела акация, и аромат ее проникал их, и, казалось, ничего не изменилось с тех пор.

Карташев увидел мать, сестер, Аделаиду Борисовну; он раскланялся с ней и пошел дальше с Маней Корневой, отыскивая ее мать.

Аглаида Васильевна сдержанно ответила на поклон Мани.

Когда нашли мать Корневой, та сделала свою любимую пренебрежительную гримасу и сказала:

– О то, бачите, видкиль взялось оно!

А пока Карташев целовал ее руку, она несколько раз поцеловала его в лоб.

– О, самый мой любимый, самый коханный, солнышко мое ясное...

Карташев проводил их до угла и затем нагнал подходивших уже к дому своих.

Зина осталась в монастыре обедать с монахинями. Она возвратилась только под вечер, когда во дворе под музыку трех странствующих музыкантов-чехов – одной дамы и двух мужчин – танцевали дети.

Танцевали Оля, Маруся, Роли – маленькая девочка, дочь дворника, и маленький мальчик, сын хозяина.

Семья Карташевых присутствовала тут же, сидя на стульях.

Девочки были в венках из васильков. Оля смешно выставляла свои толстенькие ножки, сохраняя серьезное лицо. Маруся не в такт, но легко перебирала ножками, беспредельно радостно смотря своими светящимися глазками. Роли танцевала, снисходительно сторбившись. Ло от общих танцев отказался наотрез, заявив, что танцует только казачка.

Еще что-то заиграли и наконец сыграли то, что требовал Ло.

И здесь Ло выступил не сразу, но когда начал танцевать, то привел сразу всех в восторг, так комичен был его танец, так легко и искусно выделял он ногами па и забирая нога за ногу, и приседая.

Уже самое начало, когда он легким аллюром пошел по кругу с поднятой ручонкой, вызвало бурю аплодисментов.

Танцуя, он все время посматривал со спокойным любопытством, какое впечатление производит его танец.

Торжество его было полное по окончании танца, но лицо его сохраняло по-прежнему презрительно спокойное выражение. Зина подошла в разгар танцев, в обществе нескольких монахинь, во главе с матерью Наталией.

– И красота же какая! – восторгалась мать Наталия на детей в веночках, – как херувимчики. Ай, миленькие, ай хорошенькие!

Резко бросалась в глаза Зина среди этих монахинь, что-то общее появилось у нее с ними.

Несмотря на праздник, она была в таком же черном платье, с черной накидкой сверху, как и монахини. Даже шляпа ее, тоже черная, остроконечная, напоминала не то монашескую камилавку, не то старинный головной убор при шлеме. Лицо Зины становилось еще строже, и еще красивее подчеркивалась ее холодная красота.

– Что это у тебя за шляпа? – спросила Аглаида Васильевна, всматриваясь.

Монахини переглянулись между собою и усмехнулись.

– А вот, – ответила мать Наталия, – пожелала Зинаида Николаевна, и общими трудами погрешили против праздника и смастерили что-то такое на манер нашего...

Аглаида Васильевна недовольно покачала головой.

– Балуете вы мне моих детей! Не идет тебе это!

Затем она встала и пригласила гостей в комнаты.

Там матушек угощали чаем, вареньем, им играли на фортепьяно. Зина пела им церковные мотивы, затем пели хором.

Матушки принесли с собой запах кипариса, ласково улыбались и постоянно кланялись всем, а когда пришел генерал – встали и долго не решались опять сесть.

Мать Наталия иногда глубоко вздыхала и с какой-то тревогой посматривала на Зину. А потом останавливала взгляд на детях и опять вздыхала.

Такая тревога чувствовалась и во взглядах Аделаиды Борисовны.

Когда монахини ушли, оставшиеся почувствовали себя сплоченнее, ближе, и слово за словом по поводу того, что на время отъезда Зины дети зададут хлопот Аглаиде Васильевне, был предложен Сережей проект старшим съездить в деревню. А Маня предложила ехать с ними и Евгении Борисовне и Аделаиде Борисовне.

Евгения Борисовна сперва сделала удивленное лицо, но муж ее неожиданно поддержал это предложение.

– Что ж, поезжайте, – сказал он, – а мы с Аглаидой Васильевной останемся на хозяйстве.

– Но как же так? – возражала Евгения Борисовна. – Я ведь без Оли же не могу ехать!

– Бери и Олю!

– Что для меня, – сказала Аглаида Васильевна, – то я согласна с удовольствием. С радостью я займусь моими дорогими внуками, приведу их и все хозяйство в порядок. Очень рада, поезжайте!

Евгения Борисовна говорила:

– Да как же так сразу?... Надо обдумать.

Но остальные энергично настаивали, чтоб ехать. Сдалась и она.

– Только одно условие, – сказала Аглаида Васильевна, – во всем слушаться Евгению Борисовну...

– И меня! – перебил Сережа.

– Всю свою власть я передаю Евгении Борисовне.

– И я буду строгая власть, – с обычной авторитетностью объявила Евгения Борисовна.

– Я уже дрожу! – сказал Сережа и стал корчить рожи.

Решено было ехать, проводив Зину. Она уезжала на третий день в два часа дня, а в деревню решено было ехать вечером с почтовым.

Ехали Евгения и Аделаида Борисовны, Тёма, Маня и Сережа.

Аня оставалась, потому что экзамены не кончились у нее.

Зина тоже очень сочувствовала поездке. Она обняла Аделаиду Борисовну и сказала ей:

– Вы увидите чудные места, где прошло все наше детство. Тёма, покажи ей все, все...

– Почему Тёма, а не я? – вступился Сережа.

– Потому что мое детство прошло с ним и Наташей, а не с тобой!

– Ну, а со мной, может быть, пройдет твоя старость!

– Дай бог! – загадочно ответила Зина.

– Ого, ты уже говоришь, как пифия! – подчеркнул Сережа.

Провожать Зину, кроме своих, собрались и несколько монахинь.

– О-хо-хо! – то и дело тяжело вздыхали они.

– Чего эти вороны собрались тут и каркают? – ворчал на ухо брату Сережа. – Давай возьмем дробовики и шуганем их.

Присутствие и, главное, тяжелые вздохи монахинь действовали и на Аглаиду Васильевну; казалось, и в ее глазах был вопрос:

«Что они тут?»

В конце концов создалось какое-то тоскливое настроение.

Сейчас же после завтрака начали одеваться.

Зина уже надела свою остроконечную шапку, опустила вуаль на лицо, когда подошла к роялю со словами:

– Ну, в последний раз!

Она заиграла импровизацию, но эта импровизация была исключительная по силе, по скорби. Местами бурная, страстная, доходящая до вопля души, она закончилась глубокими аккордами этой запершей боли. Столько страдания, столько покорности было в этих звуках! Слышался в них точно отдельный звон и точно сперва удары разбушевавшегося моря, а затем плеск тихого прибоя того же, но уже успокоившегося, точно засыпающего моря. Все сидели, как пригвожденные, на своих местах, после того как кончила Зина.

– Ради бога! научите меня этой мелодии! – прошептала Аделаида Борисовна.

– Идите!

Через четверть часа на месте Зины сидела уже Аделаида Борисовна, и те же звуки полились по клавишам.

Слабее была сила страсти и крики души, но еще нежнее, еще мягче замерли далекий звон и волны смиренного моря. Зина стояла, и при последних аккордах слезы вдруг с силой брызнули из ее глаз, смочили вуаль и потекли по щекам.

Аделаида Борисовна встала и бросилась к ней: у нее по щекам текли слезы.

– В память обо мне играйте! – шептала Зина и горше плакала.

Плакали все монашки.

Аглаида Васильевна недоумевала, точно угадывая что-то, смотрела, точно желая провидеть будущее, с тревогой и недоверием спросила:

– Ты что это, Зина, точно навек прощаешься?..

Зина быстро вытерла слезы и, смеясь, плачущим голосом ответила:

– Ах, мама, ведь вы знаете, что мои нервы никуда не годны, а глаза у нас, у Карташевых, у всех на мокром месте. А тут еще я вместо Наташи Делю полюбила.

И Зина уже совсем весело обратилась ко всем:

– Деля – можно так вас звать? – моя сестра, и горе тому, кто ее обидит!

На последнем она остановила свой взгляд на Тёме и сказала ему:

– Ну, прощай, и да хранит тебя бог!

Она горячо поцеловалась с ним и прибавила:

– Ох, и твоя жизнь будет все время среди бурь. Бери себе надежного кормчего, – тогда никакая буря не страшна.

– Нет, нет, сперва сядем по обычаю, – сказала Аглаида Васильевна, – а потом уже прощаться.

И все стали рассаживаться. Марусе не хватило стула.

– Иди, дорогая моя, к бабе на колени.

– Ну, теперь пора, – сказала Аглаида Васильевна и начала креститься на образ в углу.

Все стали креститься, и все встали на колени.

– Отчего все это торжественно так сегодня выходит? – спросил Сережа. – Уж кого, кого, а не Зину ли мы привыкли провожать чуть не по сто раз в год.

Монахини пошли провожать и на пароход.

Пароход, уже совсем готовый, стоял у самого выхода.

На пароходе было чисто, свежо, ярко. Совершенно спокойное море сверкало лучами, прохладой и манило вдаль.

– Эх, – хорошо бы!.. – говорил Сережа, показывая рукою.

Вот и последний звонок, свисток, последняя команда:

– Отдай кормовой!

И заработал винт, и забрызгал, и заиграла, шипя и сверкая под ним, светлая, яркая бирюзовая полоса.

На корме у борта стояла Зина. Ей махали десятки платков, но она не отвечала, стояла неподвижно, как статуя, широко раскрыв глаза и неподвижно глядя на оставшихся.

VIII

В тот же вечер выехали те, которые предполагали выехать в деревню.

Опять перед глазами сверкала вечно праздничная Высь и вся ее даль с белыми хатками, колокольнями, садиками и камышами с высокими тополями.

Все тот же непередаваемый аромат прозрачного воздуха, цвет голубого неба, печать вечного покоя и красоты.

Та же звонкая и нежная песнь под вечер, те же стройные девчата, всегда независимые и всегда склонные к задору паробки.

Среди них много сверстников Сережиных, но уж никого нет из Тёминых.

Тёмины уже давно поженились, переродились и теперь покорно тянут лямку общественных и супружеских своих обязанностей.

– Ей, панычу, – говорили Тёме из таких остепенившихся, – та вже пора и вам женытись, бо вже стары становытесь, як бы лихо не зробилось.

Аделаида Борисовна первый раз была в малороссийской деревне. И деревня, и сад, и дом очаровали ее.

Она умела рисовать и привезла с собой сухие акварельные краски, кроме того, она вела дневник в большой тетради, запиравшейся на замочек.

Любимым ее местом в саду стало то, где сад соприкасался с старенькой, точно вставшей в землю, церковью.

Тёма учил ее ездить верхом, и часто они ездили в поле. Евгения Борисовна и Маня в экипаже, Аделаида Борисовна, Тёма и Сережа верхом.

В поле пахали, и начался сенокос. Пахло травой, на горизонте вырастали новые скирды сена, и около них уже гуляли стада дрохв.

Лето было дождливое, мелкие озера не пересыхали, и степь была полна жизни: крякали утки, кричали, остро ныряя в прозрачном воздухе, чайки, нежно пели вверху жаворонки, а в траве – перепела.

А то вдруг гикнет дружная песнь, и польются по степи мелодичные звуки.

Однажды на сенокосе катающихся захватила буря и дождь.

Как раз в то время, как Тёма косил, а Аделаида Борисовна училась подгребать накошенное.

В мягком влажном воздухе клубами налетели мокрые тучи, быстро сливаясь в беспрочно-светно-сизо-темный покров там, на горизонте, и черно-серый, точно дымившийся над головой. Страшный гром раскатился, на мгновение промелькнула змеей от края до края молния, стало тихо, совсем стемнело, упало несколько передовых крупных капель, и сразу пошел как из ведра ароматный дождь.

С веселым визгом побежали работницы и работники под копны собранного уже сена.

Под одну из таких копен забились и Аделаида Борисовна с Тёмой.

Им пришлось сидеть, плотно прижавшись друг к другу, в аромате дождя и сена. Сено мало предохраняло их, но об этом они и не заботились. Им было так же весело, как и всем остальным, и Аделаида Борисовна радостно говорила:

– Боже мой, какая прекрасная картина.

Мутно-серая даль от сплошного дождя прояснялась. Все словно двигалось кругом и в небе и на земле. Земля клубилась волнами пара, и казалось, что сорвавшаяся нечаянно туча теперь опять торопилась подняться кверху; в просвете этих волн вырисовывались в фантастических очертаниях скирды, воза, копны, и вдруг яркая от края до края радуга уперлась в два края степи. А еще мгновение – и стала рваться темная завеса неба, и пятном засверкало между

ними умытое, нежно-голубое небо. Выглянуло на западе и солнце – яркое, светлое – и миллионами искр засверкало по земле.

Природа жила, дышала и, казалось, упивалась радостью. Точно двери какого-то чудного храма раскрылись, и Аделаида Борисовна вдруг увидела на мгновение непередаваемо прекрасное.

И это она – счастливая. Они оба сидели в этом храме, смотрели и видели, смотрели друг другу в глаза, и все это: и эта чайка, и это небо, и даль, и блеск, и все это – в ней и в них, это – они.

Крики чайки точно разбудили ее. Она провела рукой по глазам и тихо сказала:

– Как будто во сне, как будто где-то, когда-то я уже переживала и видела это...

Приближался вечер, и работа не возобновлялась больше.

Мокрые, но довольные, потянулись рабочие домой и запели песни.

За ними тихо ехали Аделаида Борисовна и Карташев, слушая песни и наслаждаясь окружавшим.

Небо еще было загромождено тучами, а там, на западе, они еще плотнее темными массами наседали на солнце.

Из-под них оно сверкало огненным глазом, и лучи его короткими красными брызгами рассыпались по степи.

Вечером собрались на террасе, и Тёма громко читал «Записки провинциала» Щедрина. Он сам хохотал как сумасшедший, и все смеялись. Иногда чтение прерывалось, и все отдавались очарованию ночи.

Деревья, как живые, казалось, таинственно шептались между собой. Их вершины уходили далеко в темно-синюю даль неба там, где крупные звезды, точно запутавшиеся в их листве, ярко сверкали.

Маня запевала песню, Сережа вторил, и казалось, и звезды, и небо, и деревья, и темный сад надвигались ближе, трепещущие, очарованные.

У Тёмы с приездом в деревню обнаружился талант: он начал писать стихи, и все, а особенно Аделаида Борисовна, одобряли их.

Но Карташев, прочитав их, рвал и бросал.

Он и сегодня набросал их по случаю дождя. Карташев долго не хотел читать их, но, прочитав, разорвал и бросил.

Аделаида Борисовна огорченно спрашивала:

– Почему же вы так поступаете?

– Потому что все это ничего не стоит!

– Оставьте другим судить!

– Я горьким опытом уже убедился, что никакого литературного дарования у меня нет.

– Но то, что вы пишете, то, что вас тянет, – уже доказательство таланта.

– Меня тянет, постоянно тянет. Но это просто пунктик моего помешательства.

– Я думаю, – ответила, улыбаясь, Аделаида Борисовна, – что пунктик помешательства у вас именно в том, что у вас нет таланта.

– Видите, – сказал Карташев, – я делал попытки и носил свои вещи по редакциям. Один очень талантливый писатель сделал мне такую оценку, что я бросил навсегда всякую надежду когда-нибудь сделаться писателем. Уж на что мать, родные – и те писания моего не признают; вот спросите Маню.

Маня подергала носом и ответила, неохотно отрываясь от чтения:

– Да, неважно, стихи, впрочем, недурны.

– А что вы делаете с вашим писанием? – спросила Аделаида Борисовна.

– Рву или жгу. Тогда, после приговора, я сразу сжег все, что копил, и смотрел, как в печке огонь в последний раз перечитывал исписанные страницы.

Однажды Карташев подошел к Аделаиде Борисовне, когда та, сидя у церкви, рисовала куст.

– Можно у вас попросить этот рисунок?

Аделаида Борисовна посмотрела на него смеющимися глазами.

– А можно вас, в свою очередь, попросить то, что вы пишете и что вам не нравится, дарить мне?

– Если вы хотите... На что вам этот хлам? Вы единственная во всем свете признаете мои писания, потому что я даже сам их не признаю.

Аделаида Борисовна в ответ протянула ему руку и на этот раз с необходимым спокойствием сказала:

– Благодарю вас.

– Ах, как я бы был счастлив, если б мог вам дать что-нибудь стоящее этого василька.

– Давайте, что можете! – смущенно ответила Аделаида Борисовна.

Для робкой и застенчивой Аделаиды Борисовны было слишком много сказано, и она покраснела, как мак.

В первый раз в жизни Карташев увлекся девушкой, не ухаживая.

Ему очень нравилась Аделаида Борисовна, ему было хорошо с ней. Он часто думал – хорошо было бы на такой жениться, – но обычное ухаживание считал профанацией.

Раз он надел было свое золотое пенсне.

– Вы близоруки?

Карташев рассмеялся.

– Отлично вижу.

– Зачем же вы носите? – с огорчением спросила Аделаида Борисовна.

В другой раз он убавил свои лета на год.

Маня не спустила.

– Врешь, врешь, тебе двадцать пять уже!

И опять на лице Аделаиды Борисовны промелькнуло огорченное чувство.

– Не все ли равно, – спросила она.

– Если все равно, – ответила Маня, – то пусть и говорит правду.

– Я и говорю всегда правду.

– Ну уж...

– Аделаида Борисовна, разве я лгу?

– Я вам верю во всем! – ответила просто Аделаида Борисовна.

– Пожалуйста, не верьте, потому что как раз обманет.

– Аделаиду Борисовну? – Никогда!

Это вырвалось так горячо, что все и даже Маня смутились.

Карташеву было приятно, что в глазах Аделаиды Борисовны он является авторитетным. Она внимательно его слушала и доверчиво, ласково смотрела в его глаза. Он очень дорожил этим и старался заслужить еще больше ее доверие.

Десять дней быстро протекли, и Евгения Борисовна стала настаивать на отъезде.

Как ни упрашивали ее, она не согласилась, и в назначенный день все, кроме Сережи, выехали обратно в город.

– Праздники кончились! – сказала Маня, сидя уже в вагоне и смотря на озабоченные лица всех.

Евгения Борисовна опять думала о своих все обострившихся отношениях с мужем.

Аделаида Борисовна на другой день после возвращения собиралась ехать к отцу и жалела о пролетевшем в деревне времени.

Мане предстояла опять надоевшая ей работа по печатанью прокламаций.

Карташев тоже жалел о времени в деревне и думал о том, что он сидит без дела, и казалось ему, что так он всю жизнь просидит.

Он смотрел на Аделаиду Борисовну и думал: «Вот, если бы у меня была служба, я сделал бы ей предложение».

Но в следующее мгновение он думал: разве такая пойдет за него замуж? Маня Корнева – еще так... А то даже какая-нибудь кухарка. А самое лучшее никогда ни на ком не жениться.

И Карташев тяжело вздыхал.

Дома скоро все вошло в свою колею.

Накануне отъезда поехали в театр и взяли с собой Ло, так как шла опера, а Ло любил всякую музыку и пение.

Был дебют новой примадонны, и успех ее был неопределенный до второго действия, в котором Ло окончательно решил ее судьбу.

Артистка взяла напряженно высокую и притом фальшивую ноту. Музыкальное ухо Ло не выдержало, и он взвизгнул на весь театр бессознательно, но в тон подчеркивая фальшь.

Ответом было – общий хохот и полный провал дебютантки.

Бедная артистка так и уехала из города с убеждением, что все это было умышленно устроено ее врагами.

Уехала Аделаида Борисовна, и прощание ее с Карташевым было натянутое и холодное.

«Эх, – думал Карташев, – надо было и мне, как Сереже, остаться в деревне, тогда бы иначе попрощались! С Сережей даже поцеловалась тогда на прощанье...»

IX

После отъезда Аделаиды Борисовны Карташев скучал и томился. Однажды Маня, сидя с ним на террасе, спросила с обычной вызывающей бойкостью, но с некоторым внутренним страхом:

– Говорить по душам хочешь?

Карташев помолчал и, поборов себя, неуверенно ответил:

– Говори.

– Мы влюблены? То есть – не влюблены, но нами владеет то сильное и глубокое чувство, которое единственно гарантирует правильную супружескую жизнь. Мы глубоко симпатизируем, мы уважаем; отсутствие дорогого существа для нас – тяжелое лишение, и мы сознаем, что она, конечно, была бы лучшим украшением нашей жизни. Помни, что быть искренним – главное достоинство, и поэтому или отвечай искренне, или не унижай себя и лучше молчи.

– Я буду отвечать искренне, – серьезно и подавленно ответил брат. – Несомненно сознаю, что лучшим украшением жизни была бы она. Я не решился бы формулировать свои чувства, но мне кажется, что, узнав ее, никогда другую уже не захочешь знать. И я не буду знать: ни другую, ни ее. Для меня она недостижима по множеству причин. Она чиста, как ангел, я – грязь земли. Мало этого: я прокаженный, потому что, что бы ни говорили доктора, по твердой уверенности нет, что болезнь прошла. Если не во мне, то в детях она может проявиться. Дальше: она богата, а у меня ничего нет, потому что от наследства я отказался, воровать не буду, а при моем характере, даже при хорошем жалованье, ни о каких остатках и речи быть не может. При таких условиях я – бревно, негодное в стройку, в лучшем случае – годное на лучины, чтобы в известные мгновенья посветить при случае кому-нибудь из вас. И все-таки я очень благодарен Аделаиде Борисовне, потому что ее образ настолько засел во мне, что она отгонит всех других, и я тверже теперь пойду по тому пути, по которому должен идти.

Маня сидела, слушала, и – чем ближе к концу – она пренебрежительнее кивала головой.

– Ты так же знаешь себя, как я китайского императора. Запомни хорошенько: прежде всего ты – эгоист и один из самых ужасных эгоистов, которого природа одела в красивые перья, наделила лаской, внешней как будто беззащитностью. И с этим качеством ты многое выманишь у жизни. У тебя и хорошие есть стороны: ты хорошо и искренне сознался, что ты – грязь, а она – ангел. И эта искренность, которая в тебе несомненно есть и хоть *post factum*, но всегда явится и может сослужить тебе службу...

Маня затруднялась в выражениях.

– Ну, хоть в смысле познания, что такое человек, из каких противоположностей он создан. На этой почве я даже допускаю мысль, что из тебя мог бы выработаться и писатель. Но только не скоро, очень не скоро. Когда перебурлит, когда вся грязь сойдет, когда мишура жизни будет признана, а честолюбие – у тебя его бездна – все-таки останется. И вот тогда, может быть, твоим идеалом и явится Жан-Жак Руссо. И то, впрочем, если твоя жизнь сложится так, что будет молотом, дробящим эту мишуру, а то так и расплывется в ней без остатка. И тогда ты будешь окончательная дрянь, которую в свое время и отвезут, как падаль, на кладбище те, которые к этому делу приставлены.

При всем своем неверии будешь и крест целовать, словом, можешь, как сложится жизнь, превратиться, полностью превратиться в одну из тех гадин, которые неуклонно, каждая с своей стороны, охраняют существующую каторгу всей нашей жизни. Вся надежда, повторяю, на твою искренность, которая, просыпаясь от поры до времени, будет, помимо, может быть, и твоей воли, разрушать то, что уже будет создано тобой. А может быть, я и ошибаюсь. Во всяком случае, я теперь посылаю Аделаиде Борисовне книги и пишу ей; от тебя кланяться?

– Кланяйся, конечно. Но, умоляю тебя, не затевай ничего из области неисполнимого. Понимаешь?

– Понимаю, понимаю. С чего ты взял, что я хочу быть свахой? Если ты сам не хочешь...

– Не не хочу, а не могу.

– Ну, не можешь... Во всяком случае, можешь быть уверен, что уж меня-то никогда не причислишь к людям, исполняющим твои желанья, помогающим тебе жить, как ты хочешь... Дудки-с...

Маня сделала брату нос и ушла.

Она писала в тот день, между прочим, Аделаиде Борисовне: «Тёма у нас ходит грустный, пустой и занимается самобичеванием. Сегодня мы с ним говорили о тебе. Он говорил, что ты ангел, а он грязь. А я ему еще прибавила. Теперь он сидит на террасе и безнадежно смотрит в небо. Кроме того, что тебя нет, его убивает, что он до сих пор без дела, и с горя хочет ехать на войну в качестве уполномоченного дяди Мити по поставке каких-то транспортов, подвод, быков, лошадей. И пускай едет: с чего ни начинать, лишь бы начал, а в Рим все дороги ведут».

Карташев действительно после некоторых колебаний принял предложение дяди быть его представителем.

Дядя Карташева взял на себя поставку двух тысяч подвод. Из них: его собственных – четыреста, Неручева – шестьсот, а остальные – тысячу – они получают.

Сдача подвод назначалась в Бендерах, а затем Карташев с этими подводами должен был отправляться, под наблюдением интендантских чиновников, в Букарешт и далее на театр военных действий.

Самым неприятным в этом деле были сношения с интендантством.

– Ты должен будешь, – пояснял ему дядя, – их кормить и поить, сколько захотят. Затем за каждую подводу, за соответственное количество дней они тебе будут выдавать квитанцию, причем в их пользу они удерживают с каждой подводы по два рубля.

– Но ведь это значит взятки давать?

– Тебе какое дело? Никаких взяток давать ты не будешь. Будет у тебя квитанция, скажем, на десять тысяч рублей, ты и распишешься, что получил десять, а получишь восемь. Вот и все... Ведь это же коммерческое дело: не мы же что-нибудь незаконное делаем. Так всегда и везде делается: дают цену хорошую, отделить два рубля можно, а не отделишь – все дело погибнет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.